

БЕРЛИН.БЕРЕГА

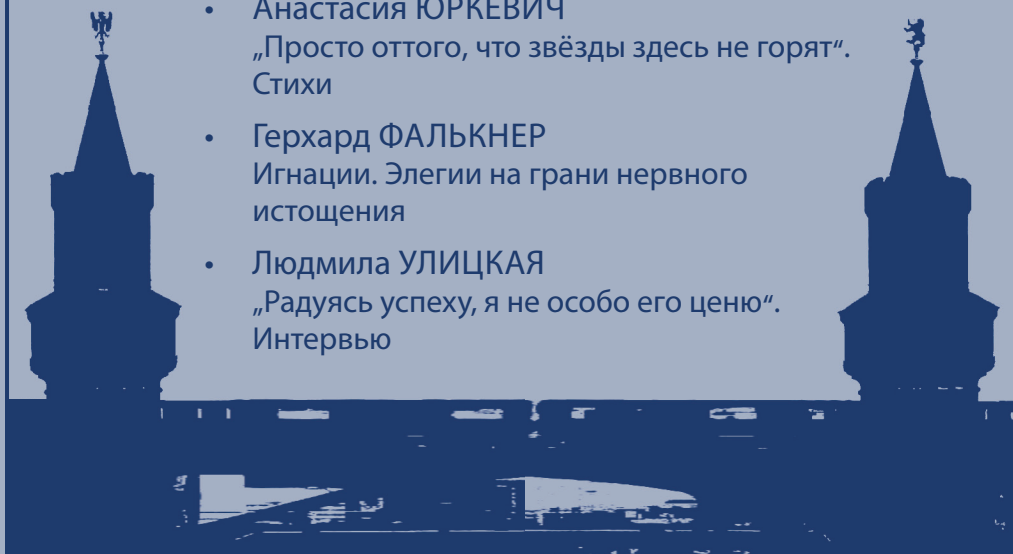
литературный журнал

№ 3 (№ 2/2016)



В номере:

- Марина СТЕПНОВА
„Русский снег“. Фрагмент из книги
- Анастасия ЮРКЕВИЧ
„Просто оттого, что звёзды здесь не горят“. Стихи
- Герхард ФАЛЬКНЕР
Игнации. Элегии на грани нервного истощения
- Людмила УЛИЦКАЯ
„Радуюсь успеху, я не особо его ценю“. Интервью



Редакция / Redaktion:

Главный редактор/Chefredakteur: **Григорий Аросев / Grigorii Arosev**

Редакторы/Fachredakteure:

Поэзия / Poesie: **Женя Маркова / Genia Markova**

Проза / Prosa: **Дмитрий Вачедин / Dmitry Vachedin**

Переводы / Übersetzungen: **Эдуард Лурье / Eduard Lurje**

Связи с общественностью / Public Relations: **Мария Аросева / Maria Aroseva**

Художник / Illustrationen: **Лилия Лурье / Lilia Lurje**

Тексты на немецком языке / Deutsche Texte: **Герд Буссинг / Gerd Bussing**

Вёрстка / Layout und Satz: InterMedienCenter

Herausgegeben von der Redaktion der Zeitschrift

Журнал выходит при поддержке Владимира Юрьевича Круглова, директора компании «АРГОС» — оператора электронного документооборота.

Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.dnb.de> abrufbar

Diese Zeitschrift ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Gesamtherstellung: Simon Verlag für Bibliothekswissen,

Riehlstrasse 13, 14057 Berlin, Deutschland

www.simon-bw.de / www.berlin-berega.de / berlin.berega@gmail.com

Druck und buchbinderische Verarbeitung Buchbinderei Art-Druk, Stettin

ISSN 2366-3510

Copyright © 2016 Simon Verlag für Bibliothekswissen, Berlin

Copyright Texte © 2016 liegt bei Autoren

Alle Rechte vorbehalten

Содержание

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

МАРИЯ ЦВИК — Дорожное, стихи	5
АНАСТАСИЯ ЮРКЕВИЧ — Просто оттого, что звёзды здесь не горят, стихи	8
МАРИНА СТЕПНОВА — Русский снег, фрагмент из книги	14
ЖЕНЯ МАРКОВА — Год обезьяны, рассказ	24
ДМИТРИЙ БЕЛКИН — Послание продвинутому мигранту, фрагмент из книги <i>Germanija</i>	34
МИХАЭЛЬ ШЕРБ — Элегии для друзей, стихи	40
ВАЛЕРИЙ МАТЭТСКИЙ — Пламенеющий павлин, стихи	45
ИЛЬДАР АБУЗЯРОВ — Лестница на Марс, рассказ ..	48
АЛЕКСАНДР КРАМЕР — Фрагменты немецкой жизни, рассказ	70
«ЗАПАД НАПЕРЁД», поэтическая группа: ДМИТРИЙ ДРАГИЛЁВ — Мелос относительной недоступности	79
ИЛЬЯ РЫВКИН — Синяя булка	83
СЕРГЕЙ ШТУРЦ — Гегемония нужна вопит	86

ДЕБЮТ

ДАША ЭДЛЕР — Последний полёт, рассказ	89
АНАИТ САГОЯН — Я и мои три тени, рассказ	94
ДАРЬЯ РУБО — Леопард, рассказ	102

ПЕРЕВОДЫ

ДАРЬЯ БОБРОВСКАЯ — ÜberDichter — Сверхпереводчик или суперпоэт? статья	105
ГЕРХАРД ФАЛЬКНЕР — Игнаций. Элегии на грани нервного истощения Переводы Елены Раджешвари	112

ПУБЛИЦИСТИКА И КРИТИКА

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ — Радуюсь успеху, я не особо его ценю, интервью.....	118
ВАДИМ ФАДИН — Тема границы в литературе, эссе.....	128
ВИКТОР ФИШМАН — Иван Голль: меж странами и языками, статья.....	134
ЮЛИЯ ВИШКЕ — Русские философы в Берлине 1920-х, или О возможностях и границах интеркультурного диалога, статья	141
ЭДУАРД ЛУРЬЕ — Плюсквамперфект и думы, рецензия на книгу Алексея Макушинского <i>Пароход в Аргентину</i>	152
ЭЛИЗАБЕТ СИМОН — Послание-связь между временами, рецензия на книгу Алексея Макушинского <i>Dampfschiff nach Argentinien</i>	155

ТЕАТР

ЗИНОВИЙ САГАЛОВ — Реквием с шампанским и устрицами, сцены в одном действии	158
Сведения об авторах	179
Kurze Zusammenfassung	185
Информация о подписке	189

Уточнение

Во втором номере «Берлин.Берега» по вине редакции не было указано, что рассказ Алексея Макушинского «Остерго» впервые опубликован в сборнике «Как случай изменил мою жизнь к лучшему» (Москва, Эксмо, 2016). Приносим извинения автору и издательству.

Мария Цвик

... И будут путать, кто когда отпал,
обмолвись, Польшу называть Литвою,
смотреть в окно, как облачный опал
обтаёт и прорвётся синевою.
Как мы: в наплыве ватного тепла
Ленясь, рыхлили землю возле дома,
И перламутр битого стекла
Нам не сказал об ужасах погрома.

Этот город-бутон, шелуха распутившихся почек,
ослепительный зной, желтизна запыхлённой луны,
город тайных печалей и рано взрослеющих дочек,
и рыданий в подушку, что только соседям слышны.

Этот город Вчера, где почти что любовь между строчек,
обречённых огню на корявой ступенечке в сад,
город вечной разлуки и резко поставленных точек...
И куда-то билетов, чтоб вскоре вернуться назад.

Я на улице тихой, скользя каблуком —
по булыжнику в ямку —
и кремовый дом
с шоколадною дверью и с розой в саду —
для меня прорастает.
Лениво иду,
и лесное молчанье столичного дня,
чьи-то сосны и шторы — для чуждой меня.
Мне гулять и смотреть, а хозяева — там,
строят шорох листвы, клеют запах к цветам.

Жила бы я на станции Тересполь —
мы утром бы здоровались по-польски.
Была бы мне привычна желтизна
травы длиннейшей, странной, марсианской,
по насыпи струящейся под ветром.
А вечером сидели бы в кафе, —
вон там, внизу, на улице мощёной,
под вывеской щемящей синевы.
А наверху перрон гудел бы смутно
и ритмом доносился стук колёс...
Мы не живём на станции Тересполь.
О господи, нигде мы не живём.
Ребёнок спит. В купе жара. Окно
задраено, как на подводной лодке.
Ребёнок спит. В купе жара. И стук.
Стучат колёса, но и что-то кроме.
Да вот, стучит цепочка на дверях.
Обычная, дверная, в плюш багровый
упрятана зачем-то — будто символ,
намёк на то, что ждёт нас впереди.

Я, конечно, из этих, из слабых.
Я чуть что — сразу мордой к стене.
Неудачи, тычки и ухабы
Будто свыше назначены мне.

Ты понять не умеешь.
Ты с шуткой —
даже если судьбина под дых.
С разговором о мясе и утке
и сравнительных качествах их.

Ностальгия? Достанем отчизну.
Я в тоске? Ты настойчиво весел.
Ты не жадный. Ты делишься жизнью.
И встаю я из слёз и из кресел.

Я чай пила, о чашку грея руки,
Готовясь в день запрыгнуть, как в седло.
Я всё смогу. Мне в жизни повезло.

За столиком соседним две подруги,
Две рыжие... И память повело.

Мне Элка снилась. В кухоньке моей.
В немыслимом разоре переезда
мотала рыжей россыпью кудрей,
бесчисленным вещам искала места.

Явлением её потрясена,
Я тщательно вопросы подбирала,
Ведь было очевидно, что она
О смерти позабыла. Иль не знала.

Отъезд — как любовь.
Так пугающе-остро.
Уехали тысячи прежде, до нас,
но мы — уникальны. Проблемы подростка.
И дышится бурно, и слёзы из глаз —
не льются, но всё задрожало, как в зное.
Сиреневый цвет ностальгии — на всём.
Всё прошлое нынче.
А завтра — иное.
Страшимся. Колеблемся. Жаждем. Идём.

Анастасия Юркевич

*«Суть эмиграции — сытость и немота»**Ирина Евса*

снова сирень, а значит — прошёл ещё год.
и сколько б не сменяла ты города,
она и не думает обновить цвёта, запаха. она совешенно та
же: ты идёшь, держа бабушку за руку, направляясь к школе,
к знаменке, мимо дома пашкова...

вот и здесь одуревший дрозд по-прежнему то дерёт
глотку где-то на верхотуре,
(коньке крыши, шпиле, верхушке сосны), то как воды в рот,
и это значит, что всё, в сущности, как тогда, как всегда,
значит, что снисходительный к человеческой дурн
бог, глядишь, даст, и твоя немота
пройдёт...

На отъезд друга*F. S.*

Приезжали вместе, отваливаешь один
На дешёвом автобусе с надписями «Бюджет».
И в твоей квартирке теперь ничего нет:
Даже гардин

Не осталось на окнах, таращащих три бельма
В пустоту нелюбимого города. Что ж теперь?
А теперь ты уж как-нибудь тут сама,
Средь своих потерь.

Волку Зай говорит: «Ты, миленький, уезжай».
 И боится плакать, такие настали дни.
 Столько лет всего-то и было твоей родни —
 Me, myself and I.

Если вдуматься, впрочем, не о чем попросить:
 Всё сложилось... Но хочется одного:
 То ли петь, то ли попросту голосить:
 «На кого ж ты меня, друже мой, на кого?»

Études. «Alexanderplatz»

... просто оттого, что буквы здесь не горят,
 по фасаду струится «алекса», потом «ерплат».
 и когда на дорогу выходишь, совсем один
 (на руке — клубный штамп «ID»), —
 просто оттого, что звёзды здесь не горят,
 не видать ни зги на трамвайном твоём пути.
 всё ни шатко, ни валко: взобрался, да там же слез,
 но зато как силен выживательный твой рефлекс,
 как распахнуты настезь все части света!
 говорят, что это свобода... видать, за это
 ты теперь и платишь, в древесном своём нутре
 каждой клеткой боля, надрезом в чужой коре,
 как дичок, прикрученный изолентой...

Études. «Кирьят-Арба»

А ты уйди, уйди, страшный, поди к другим.
 Кто-то в полдень тихо заходит в дом.
 Йеладим, милые мои йеладим!
 Для того ль вас рожала я, чтоб потом...
 Кто-то ходит, слышишь, в кармане сжимает нож.
 В голове халаз, намаз, ничего не поймёшь.
 Девочка спит на кровати, сегодня влажно.
 Дальше уже неважно.

Говорил с акцентом словечки наподобие «нормалёк»,
И умом, если честно, особенно не был далёк.
Далеко не далёк. Никогда и не был.
И однако же именно с ним ты глядишь на небо,
Делишь братски завернутые в кулёк
Серо-белые семечки дней, оставшиеся от зимы,
Так легко говоришь «мы».

К. М.

Пятый день дождя, на плите ИКЕА выкипает кофе.
Как ни странно, вот уж и мы с тобой стареем — в душе, и в
профиль.

Нас волнует меньше расклад событий, facts and figures,
Поубавилось гонора, с ним и прыти, твой Федя вырос.

Поубавилось дури в твоей бедовой, а впрочем, вряд ли:
Как и прежде, со смертью своей фартовой играешь в прятки,
И в зрачке, отражающем звон блесны — меньше спеси.
Но прибавили в качестве наши сны, слово — в весе.

Всех богатств за твоим голенищем — ложка, да рубль денег,
Зато я теперь ипохондрик немножко, и неврастеник.
Поприбавилось стран, что не стали домом, ещё — пробелов
В списках наших с тобой знакомых. Но всё же в целом

Жизнь, мне кажется, задалась: два савраски,
Мы прошли изрядную, в общем, часть вместе, в связке.
Про тебя мне кажется: всё, что есть — непреложность.
Вряд ли тот, кто, похоже, и вправду есть, проявил оплошность —

Столь ответственный и кропотлив (есть примеры), —
Твоё сердце щедростью наделив сверх меры;
Выдав просто за будь здоров, просто, чтобы... —
Бесшабашнейший из даров высшей пробы.

И когда ты припрёшься в чужой монастырь со своим джихадом,
 И замечется бедный твой поводырь между раем, адом,
 Ты достанешь смычок, что стырил дурак-мигрант где-то возле
 МКАДа,
 И взорвётся в вечности твой талант — звездопадом.

К. М.

Иногда мне кажется — попросту приезжай,
 Будем вместе жить, и так уже — как родные.
 Чемодан, футляр... а дальше — не возражай.
 Времена, говоришь, шальные? У всех шальные.

Приезжай — и будет счастье нам, как с куста,
 Заптрихует мои пробелы, твои пустоты.
 Заведём собаку — ведь не было никогда,
 И успеем хотя бы как-то, хотя бы что-то.

Снимем домик, увязший по уши в мураве,
 Где вокруг — шишкин лес, и медведь ворошит малинник.
 Там и стукнет, с промежутком недели в две,
 Мне — всего ничего, тебе, например — полтинник.

И пройдёт стороной твоя чёрная полоса,
 Как гроза, за соседним холмом выжимая тучу.
 Помнишь, ты говорил — ничего не бывает круче,
 Чем с утра пораньше детские голоса?

Но когда по откосам сойдёт виноград и хмель,
 Нам с тобой, как Мошэ, до конца не вместившим чуда,
 Не увидать вблизи заветанных нам земель.
 Посидим на холме. Посмотрим — хотя б отсюда.



Чувствуя ночью — корабль твой даёт крен,
Знай, никого понапрасну не беспокоя:
Чувство тревоги — всего лишь гонец перемен,
Страх, напротив, нечто совсем другое.

Позже, спустившись в трюм, обнаружив течь,
Помни, ещё не вечер, бывает хуже:
Если сегодня придётся на дно залечь,
Всё ж на плаву останутся те, кто сдюжит.

Если команда, так долго казавшаяся тебе
Ладно скроенной, спаянной каждым годом,
Третьи сутки, подмахивая судьбе,
Вдрызг на палубе ждёт у моря погоды,

Значит, настал черёд подводить итог,
То есть выбивать кайлом в судовом журнале
Инициалы всех, домотавших срок:
Кто на поверку всё ж оказался плох,
Кто, напротив, и в смерти остался с нами.

Сердце ложится на грунт, лишь болит: «Не дрейфь...»
Место, где неумело к нему пришиты
Грубой матросской ниткой, как некий нелепый шлейф
Кромка земли под душистым пушком самшита,

Вереска, чабреца, чего-нибудь там ещё,
Дам, в котором; пейзаж, где сейчас кому-то
Ты уступаешь место, вычищенная хвощом
Утварь под солнцем, двор, воскресенье, утро...

Зная, уже достоверно — тебе кранты,
Сбившись с курса по самое извините,
Плюнь на всё, держись полярной звезды:
Чем всё сложнее, тем вернее она в зените.

Встань, весь, как есть, с запрокинутой головой:
Может — кто знает — это её сегодня
Видят волхвы, укладывая с собой,
Смирну, игрушки, золото, благовония...

Земную жизнь пройдя до пресловутой
Черты, в мешке дорожном обнаружишь
Огрызок карандашный, пару книг
С затёртыми углами, чей-то номер,
Записанный небрежно на обрывке
Газетном непонятно чьей рукою,
Без имени и без последней цифры. Рядом
Клочок фольги с прилипшею конфетой,
Бумажные салфетки, словом — хаос
В миниатюре. Но к нему впридачу,
Среди пылинок, сора, хлебных крошек
На самом дне ты обнаружишь ряд
Простых, но совершенно новых истин.
Штук пять, наверно, сразу не нащупать.

И пусть себе лежат.

Марина Степнова

Русский снег

Фрагмент из книги

Пращур его, тихий лекарь Йоганн Мозель, был живъём зажарен на вертеле.

Великая Русь. Москва. Мороз. Опричнина. Вороньё.

Лето от Рождества Христова тысяча пятьсот семьдесят девятое.

Мозеля схватили на улице, худенького, перепуганного — отчаянный заячий крик, шапка, затоптанная в грязном снегу. Он был виновен лишь в том, что оказался уроженцем вестфальского Везеля — и, значит, земляком всеильного Элизиуса Бомелиуса, возможно, мошеника, несомненно — недоучки и — вот она гаупость, вот истинная вина! — личного дохтура Иоанна Грозного, Государя, Царя и Великого Князя всея Руси. Даже на дыбе, едва живой уже, Мозель Богом клялся, что ни разу в жизни не видал Бомелиуса ни издали, ни в едином шаге, но даже Бог не хотел это слушать, даже Он.

Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Нет, не внемлет. Отвернулся. Всё напрасно.

По делу о дохтурах-шпионах и отравителях царя хватили десятками. Изобретательный психопат на троне. Перепачканный кровью, прихваченный дымом допросный лист.

Всегда один и тот же. Всегда всё тот же.

Жена Мозеля только вернулась от пастора, шубейки ещё не расстегнула (словно не решаясь выпустить махонькую, тихо пригревшуюся на груди веру), как ворвалась перепуганная кухаркина дочка, залопотала, мешая немецкие и русские слова. Жена Мозеля поняла сразу, ахнула коротко, утробно, как от удара, и бросилась в комнату — к детям.

Трое.

Годовалая Анхен в корзинке — щёки опять красные, всю ночь басовито ныла, отрачивала себе новый зубок. Четырёхлетний Георг, кудрявый, как отец, такой же серьёзный. И десятилетняя Ансельма. Вскочила с лавки, округлила пушистые светлые глаза — что, мама? Совсем взрослая, худенькая, на запястьях — красные костяшки. Единственная родилась не здесь. Всё, что они привезли с собой в Московино с родины. Честные руки Йоганна Мозеля. Его доброе сердце. Лекарскую сумку. И Ансельму.

Трое.

Время дёрнулось несколько раз и колом встало посреди комнаты, натопленной до малиновой одури, тесной. Жена Мозеля схватилась за горло, сжала чужими холодными пальцами, точно это могло помочь. В оконце, затянутое бычьим пузырьём, вползло январское солнце, крошечное, жуткое, ухмыльнулось криво, как параноик — и исчезло, спряталось за рябой птичьей стаей. Будто занавесилось.

Трое!

Что, мама?!

Жена Мозеля не ответила, только ахнула ещё раз — и побежала, побежала, побежала опять, сперва перескакивая ступеньки, потом по галерейке и дальше — проулком, кривым, как судьба, ещё одним, таким же коротким и страшным, потом по тракту, дальше, дальше — белёсые растрёпанные волосы, белёсые остановившиеся глаза, так и не перевела дух до самого Ревеля, и только всё прятала на груди голову Георга, тяжёленького, теплого, не смотри, сынок, не смотри. Но он всё равно смотрел — и навсегда запомнил страшное дивное сияние снега, и огненное закатное небо, прошитое колокольным гулом и торжественным вороньём.

В Ревеле мать наконец остановилась и умерла — как будто опомнилась. Георг забрал проезжий вестфальский купец, рыжий, толстый, важный. Завернул в шубу и увёз, прижав к огромному, как будто даже жидкому пузу, прочь, прочь от Ливонской войны, от Руси, держись от московитов подальше, сынок, дикий народишко, дикий и трусливый, они все рабы своего царя, и царь у них такой же — настоящий зверь.

Под шубой стояла плотная, кислая вонь, от которой слезились глаза, Георг задыхался, а купец всё бубнил и бубнил, гудел гулким брюхом в самое ухо. С каждой верстой становилось теплее и грязнее, они въезжали в весну, вползали в неё — медленно, неотвратно, как будто мир действительно оттаивал, отдаляясь от Москвы. Полозья сперва стали застревать, потом заскреблись жалко, как ззябшая собака под дверью, и наконец под ногами застучали, мягко переваливаясь, колёса. Снег, долгодолго слабевший, исчез вовсе, словно его и не было. Георгу это не понравилось, он завозился, попытался пожаловаться — но не смог.

Да и купец всё равно никого, кроме себя, не слушал.

Вестфальская земля оказалась зелёной, кудрявой и даже птицы тут не орали, а звучали — торжественно, радостно, слаженно, как орган. Невидимая точка на горизонте, к которой они стремились, обрела наконец очертания, словно сбывающаяся мечта: тёмная, самую малость зачерствевшая стена, два собора, острая геометрия крыш, — город всё наплывал, наплывал, потом мягкий стук колёс сменился грохотом, и повозка въехала на центральную площадь. Везель, — объявил купец торжественно и поставил Георга на брусчатку. Мальчик закинул голову — небо было безоблачное, яркое и совершенно пустое. Вкусно пахло горячим хлебом с анисом и кориандром, сытостью, свежей грязью и таким же сытым, свежим, парным дерьмом. У самого соборного шпилья болталась клетка, в ней дотлевало какое-то умертвие.

Георг зажмурился.

Всегда уповай на Господа, сынок, — назидательно прогудел купец, подбирая поводыя. Держись только своих. И помни, что ты — свободный гражданин свободного города.

Георг кивнул и зажмурился ещё крепче. За долгую дорогу он завшивел, отоцал и разучился плакать. Своих у него больше не было. Совсем. Купец, довольный, что развязался с богоугодной обузой, причмокнул, лошадь дёрнула мохнатой спиной, и через несколько минут от прошлого Георга не осталось даже грохота. С-с-воб-б-одный, — попробовал повторить он, но не смог. Звуки стали густыми, вязкими, налипли на нёбо, как вишнёвый клей. Отец учил его есть вишнёвый клей. В Москве. У них был свой сад. И вишни.

Всё, что Георг хотел — вернуться домой.

Когда он в следующий раз открыл глаза — то снова увидел снег. И Москву. У ног Георга стояла лекарская сумка.

По величанию как?

Двадцать пять лет. Худой, как отец, такой же упрямый. Правда, уже не такой же кудрявый. Темя словно обглодало — временем, ветром, и макушка торчала — голая, беспомощная, розовая. У отца не так было. Он подбрасывал Георга — высоко-высоко, сажал на плечи. И макушка у него была кудрявая, плотная, как руно. Георг помнил. Макушку вот эту. Вишнёвый клей. И ещё — снег.

Дьяк из Посольского приказа потерпел ещё немного, выжидаяще вися пером, и уточнил на деревянном неповоротливом немецком — не надо ли толмача. Георгу было не надо. Двенадцать лет учёбы. Лайпциг. Штрассбург. Лейден. Оксфорд. Парис. Падова. Шесть языков. На всех заикался ужасно. Цесарский, латинский, французский, итальянский. Голландский. И русский, да. Он не забыл. Отроком бросался к редким купцам-москвитам — п-п-п-а-а-ж-ж-алуйте! Плююсь от радости, спотыкаясь. Тощий, нескладный. Многие чурались, шарахались, как от юродивого, обливали с перепугу грязной площадной бранью. Растряси тебя хуеманка, залупоглазая ты проёбина! Георг не огорчился, не унывал. Нравом тоже пошёл в отца — лёгкий, слабый, упрямый. Грязь — та же земля. Брань — те же слова. Складывал одно к другому. Повторял внутри себя — там, где всегда говорил легко, гладко. Свободно.

Русский мат оставался свободным всегда. Только с ним Георг не заикался.

Так по величанию как?

Дуроёб отпетый.

Чиво?!

Дьяк вздёрнул башку, ошеломлённый. Причудилось? Угорел? Обожрался с вечера молочной каши?

М-м-м-мо-о-э-э...

Георг замычал привычно, без отчаяния — обычные, человеческие слова приходилось тянуть из себя, как проглочен-

ную верёвку, трудно, почти рвотно давясь. Изблюю тебя из уст Моих. Дьяк машинально погладил себя по животу и даже сморщился от сочувствия и скуки. Получается, всё-таки каша. И правду сказать — выжрал на ночь целый чугунок. И никто ж не заставлял.

Г-г-г-е-э-о-р-р...

Да понял, понял я, болезный. А по батюшке? Отец есть? Как величали, знаешь?

Георг засмеялся даже, кивнул.

И-и-йо-о-о-о...

Дьяк покачал головой и, не чая конца этой фонетической муке, высунул язык и вывел по своему разумению — Мейзель Григорий Иоаннович. Иванович, тоись.

Георг не стал поправлять. Зачем?

Новоявленный Григорий Иванович Мейзель вышел из приказа, шурясь на закатное солнце, на огненный снег. Россыпь ярких шаров конского навоза — будто горячие каштаны. Печные дымы, подпирающие небо, густо наперченное вороньём. Всё было, как он помнил. Только лучше. Пахло прелой соломой, берёзовыми дровами, живыми, горячими лошадьми. Москва гомонила, визжала саниями и девками, ухала, колыхалась внутри кремля тёмной весёлой жижей и то закручивала люд гулким водоворотом, то застывала, вылупив нахальные глаза и раззявив рот. Какая-то бабёнка, щекастая, рыжая, в сбившемся платке, завела на ходу протяжную, сильную песню, но шарахнулась от пьяных стрельцов, захохотала, шмыгнула в едва заметную дверь — будто лиса в отнорочек. И только голос её, прекрасный, высокий, ещё несколько секунд звенел на морозе, пока не застыл и не рассыпался колкой ледяной крупкой.

Мейзель сам не заметил, что улыбается. Шёл тысяча шестисотый год. Хорошая, лёгкая дата для начала новой жизни. Впереди был великий голод, великая смута, плач и скрежет зубовный, Ажедмитрий, семибоярщина, первый Романов и последний защитник осажденной Лавры, но Георг всего этого не знал — и потому не боялся.

Он вернулся домой, он смог. Он смог!



Рождённый при Иване Васильевиче Грозном Георгом Мозелем, Григорий Иванович Мейзель умер при Алексее Михайловиче Романове, в своём собственном доме, окружённый взрослеющими правнуками и стареющими внуками, лёгкий, светлый, костяной, восьмидесятирёхлетний — в 1658 году. Он никогда не искал сестёр, даже не пытался — и никогда не говорил о них, ни сам с собой, ни с другими, но дочерей назвал — Анхен и Ансельма, и всегда очень жалел баб — всех, любых, старых и малых, словно надеялся хоть так искупить невозможную вину.

Мать ведь выбрала его, потому что он был мальчик. Мужчина. Георг это быстро понял. Очень быстро.

Каждый обитатель тогдашнего тварного мира был чьим-то рабом — господина или государя, Господа Бога нашего Иисуса Христа, да хотя бы и просто — своего дома, поля либо ремесла. Это была настоящая лестница, грубая, страшная, ведущая из дерьма до самого неба, но женщины, бедные, были ниже любого дерьма — и служили всем. Даже самые родовитые из них ценились меньше бессловесного скота, да что там скот — добрую корову иной раз берегли крепче, чем какую-нибудь княжескую дочку, рождённую в палатах, но не смеющую поднять без воли батюшки или мужа ни голоса, ни глаз, ни головы. От коровы был толк — молоко, приплод и мясо, а баба, даже самая сладкая, была — просто баба. Инструмент для воспроизводства. Раба самого распоследнего раба.

Так было не только на Руси, конечно. «Хороша ли женщина, плоха ли, ей надо изведать палки», — так говорили везде, во всей Европе. Так везде и поступали.

Георг так не мог. Занка, почти немой (дважды, выходит, немец), он помнил по именам и самих баб, и их детишек, (даже умерших, которых и сами они не помнили) — выговорить толком не мог эти имена, но знал, и бабы это понимали. Чуяли. Притерпевшиеся ко всему, кроме самого простого сердечного тепла, они поначалу терялись, искали в Георге похоти или хотя бы корысти, и не найдя, привязывались к нему почти иступлённо. Всякое могло случиться, но Мейзель блюл себя крепко и

женился не уdom, а головой — на тихой немочке, бледной, неяркой, как огонёк дневной свечи. И так же, как от дневной свечи, шло от неё ровное тепло и едва видимый, но осязаемый свет.

На маму была похожа. Очень. Георгу так казалось.

Сам того не замечая, он жил так, как велел когда-то бросивший его в Везеле купец — держался своих и более всего на свете ценил личную человеческую свободу. Все его дети были грамотными, даже дочери, все умели уважать себя — а, значит, и других, все почитали служение делу и людям важнее служения отчизне и даже Богу. Труднее всего следовать самым простым правилам. Но Мейзели были упрямы и потому даже спустя две сотни лет оставались немцами, не смешиваясь с русским миром, как не смешиваются уксус и масло. И даже Богу иной раз непросто было решить, кто тут масло, а кто — уксус.

Кроме Ансельмы и Анхен жена родила Георгу двух сыновей. Старшего называли Йоганн, в честь деда, младшего — Георг, как отца. Оба тоже стали докторами. И с той поры каждое поколение в семье Мейзелей дочери были Анны и Ансельмы, а сыновья носили имена Йоганн или Георг, лишь прикрывшиеся Иваном и Григорием, и хотя бы один из мальчишек непременно становился лекарем. Это было словно заикание, заикание целого рода в память о мальчишке-сироте, который жрал объедки, чтобы вернуться в город, где его отца зажарили живьём. И когда история, как по ступеням шагая по державным Петрам, Екатеринам и Александрам, добралась наконец до середины девятнадцатого века, Григорий Иванович Мейзель, сам потомственный врач, не понимал только одного — почему мальчишка этот вернулся для того, чтобы лечить, а не для того, чтобы всадить Иоанну Васильевичу Грозному, Государю, Царю и Великому Князю всея Руси, арбалетный болт между глаз?

Почему вообще никто этого не сделал?! Никто и никогда?

Подданный самой могучей в Европе империи, коренной москвич, лекарь в бог знает каком поколении, последний Мейзель ненавидел власть в любом её проявлении — от гимназического учителя до добродушного урядника, и даже само слово «самодержавие», важное, тяжёлое, с соболиной выпущкой и чёрнёным серебром, вызывало у него невыдуманную физичес-

кую дурноту. Самодержавие ненавидел, а снег любил. Снег — и вот это всё, неяркое, едва заметное, ещё труднее объяснимое: заплаканные болотца, стыдливую простодушную глушь, ночи, как кровеносной системой, пронизанные дельвиговскими соловьиными трелями, яростный крик полозьев, пар над крепкими лошадиными крупами, гори, гори, моя звезда.

То же, оказывается, передаётся по наследству.

* * *

В день смерти Георга Мозеля было жарко. Весна выдалась поздней, хмурой, наголодавшаяся постом, ослабевшая Москва едва ворочалась по ноздри в густой ледяной грязи, и только в июне вдруг всё оттаяло, распустилось и разом, опоздав на целый месяц, зацвели вишни. Город стоял белый, лёгкий, замороженный сам собой, как девушка. У ворот толкся скорбный вздыхающий люд — старого заiku любили, то там, то тут взывали неутешные бабы, мужики деликатно сглатывали, рассчитывая на опохмел, потому что хоть и нехристь был наш Иоганн, а не жадина, так что, Бог даст, поднесут на помин. Ребяшня, оставшись без пригляда, втихомолку оседлала сперва забор, а потом и вовсе рассыпалась среди деревьев, гомоня и марая рты молоденьким, мягким, ярким вишнёвым клеем. У Мозеля был первый в Немецкой слободе сад — не по-русски ухоженный, по-московски щедрый.

Мозель, с вечера не шелохнувшийся, едва связанный с этой жизнью тонкой прерывистой ниткой хрипловатого дыхания, вдруг открыл глаза и попытался присесть. Старший сын, Йоганн, сам почти старик, подхватил отца под невесомые плечи. Едва успел.

*Was ist Euch widerfahren, o mein Vater? Leidet Ihr Schmerzen? Möchtet Ihr Wasser?*¹

Немецкие слова мешались с голландскими, саксонскими, русскими, кёльнский диалект бодался с клеверлендским, и вдруг выпрыгивало, журча, итальянское, живое. Это был их собственный койне, язык семьи московских Мейзелей, которому через

¹ Что, отец? Тебе больно? Может, хочешь воды? (Здесь и далее нем.)

пару поколений предстояло очиститься до сухого хохдойча — и окончательно обрусеть.

*Ich w-w-w-will Schn-n-nee ... M-m-mein-n-nen Schnee ... D-d-dort ...*²

Старик не справился, устал — и просто кивнул, показывая.

Там, за окном.

Почти прозрачный, совершенно лысый, беззубый.

*Vor dem Fenster ist's Sommer, o Vater. Die Kirschbäume sind erblüht.*³

*Das ist nicht r-r-r-recht-t-t ... nicht r-r-recht-t-t ...*⁴

Йоганн сглотнул рыдание. Он понял. Несправедливо. Да, несправедливо. Отец умирал от старости. Ничем нельзя помочь. Никакими травами, притираниями, кровопусканием даже. Просто пришло его время.

Георг откинулся на подушки, прикрыл глаза, и сын сглотнул ещё раз. Всё. Конец.

Губы старика, тонкие, сухие, шевельнулись.

Трибучий хуй, — сказал он почти беззвучно по-русски и засмеялся.

*Wie meintet Ihr, Vater?*⁵

Йоганн наклонился. Он плакал. Больше не мог держаться просто. Не мог.

Трибучий хуй, — повторил Григорий Иванович Мейзель.

И это были последние в его жизни слова, сказанные легко, свободно, без запинки. **¶**

² Я хочу снег. Мой снег. Там...

³ За окном лето, отец. Это цветут вишни

⁴ Это н-н-не-с-с.... н-н-не-с-с-с...

⁵ Что ты сказал, отец?



Женя Маркова

Год обезьяны

Цвет мокрого асфальта или, как сейчас модно говорить, графитовый, Аню совсем не красил. На витрине секонд-хенда это платье смотрелось неброско и немного футуристично, как будто стройный бледный манекен только что вышел из космического корабля, направляясь на секретную миссию, к примеру, спасти мир от очередных злобных пришельцев. Но на Ане оно почему-то висело холщовым мешком, в которых хмурые белорусские бабы возят на убой поросят.

— Нет, это никуда не годится! Снимай! — строгим голосом скомандовала Стелла. — Надо что-то такое, чтобы он тебя сразу заметил. И офигел. Бери моё красное. Точно сработает.

Стелла энергично поправила декольте и многозначительно взглянула на Аню, скорбно подпиравшую их общий шкаф.

Красное платье, действительно, срабатывало безотказно. По крайней мере, на Стелле. Но Аня всё равно сомневалась.

— Не слишком ярко будет? — неуверенно спросила она. — Я же не хочу как флаг над Рейхстагом.

— Ярко? Здрасьте! Так это же год обезьяны, тем более красной, — возразила Стелла, возмущённо выпячивая подкачанные в преддверии праздника губы. — Тут надо, чтобы было ярко. А это, — кивнув в сторону Аниного платья, — можешь надеть в год крысы. Серой.

И, страшно довольная своей шуткой, она плюхнулась на кровать возле окна и погрузилась в инстаграм.

Аня не торопилась. Надо было всё как следует обдумать. Она уже два года училась с Маркусом на одном факультете, они три раза готовили вместе реферат и как минимум раз в неделю обедали в студенческой столовой. У них даже был свой столтик в дальнем углу возле горбатого фикуса. Но дальше разговоров о Бальзаке, походов в библиотеку и двадцатиминутных посиделок

с грязно-белыми пластиковыми подносами дело не шло. В библиотеке надо было соблюдать тишину, и они молча сидели рядом, листали потёртые тома и соблюдали, соблюдали, время от времени тыкая карандашом в особенно интересные абзацы. Тут они выработали целую систему жестов, отражающих всю палитру мнений от «О Боже, это гениально!» до «Что за хрень собачья?»

В университетской столовой, напротив, было очень шумно, этот многоязыкий гомон наполнял Аню до краёв, мысли путались и вертелись — скользкие, как макароны на подносе. И сами макароны тоже мешали думать, нанизывать их тупозубой вилкой было сплошным мучением — срываясь в последний момент, они разлетались в разные стороны, оставляя жёлтый маслянистый след на столе и на одежде. Маркус всей этой борьбы, казалось, не замечал. Макароны ему послушно повиновались, впрочем, как и все остальные предметы, к которым он прикасался.

Если бы он только пригласил её к себе в гости, то она сразу бы втиснулась в его мир, вцепилась мёртвой хваткой пища и зависла там навсегда, даже не пошла бы за вещами в общежитие — да и не было у неё ничего такого ценного, что хотелось бы сохранить и передать будущим детям и внукам. Даже наоборот, Аня чувствовала, что хотела бы избавиться от всего того, что было «до Маркуса». Одежду они бы потом всегда выбирали вместе и обувь, само собой, тоже. Ну и вообще всё делали бы вместе. Кроме готовки, конечно. Бабушка научила Аню готовить такие румяные цибрики, такую сочную мачанку, что Стелла аж постанывала, закатывая выпуклые глаза, накладывала добавку, ещё и ещё, а потом, конечно же, бежала блевать в туалет, чтобы не испортить фигуру.

Но Маркус её никуда не звал. Наверное, стеснялся. Да и как не застесняться — он был единственным парнем на потоке. Единственным. Другой бы на его месте грелся в лучах женского внимания, может, даже мимоходом разбил бы пару сердец. Но Маркуса эти лучи не грели, а, казалось, наоборот, обжигали, и он прикрывался ладошкой, отворачивался, шурился, убегал в тень. И там, в укромном месте, доставал свой синий блокнотик, склонялся над ним в три погибели и что-то строчил.

Девушки у него не было. Конни сразу пустила слух, что ему нравятся мальчики. Но Аня не поверила. Не может такого быть. Обычный парень. Ну, замкнутый немного. Бывает. Это же в сто раз лучше, чем бабник. А с такой внешностью спокойно мог бы быть донжуаном. Одни глаза чего стоят. И руки. И рост. В Германии вообще много рослых парней — не то что в Белоруссии. Наверное, поэтому в Могилёве к Ане подходили знакомиться только тогда, когда она сидела. А потом молчали, остолбенев и оставаясь где-то внизу, а она, как Алиса, наевшаяся грибов, выстреливала вверх и росла, росла, пока голова не пропадала где-то за облаками, застилавшими незадачливых кавалеров. Все эти кавалеры исчезали из поля зрения так же быстро, как и появлялись, поэтому Аня даже не успевала их запомнить. Это было обидно, ведь ей совсем нечего было рассказать в противовес бесконечным историям Стеллы, с которой как минимум раз в неделю знакомились выдающиеся личности — то футболист «Боруссии», то кузен Штефана Рааба¹, то диджей из клуба *Diamonds*.

Сказать, что красное платье было вызывающим — это ничего не сказать. Стелле, с её ростом фотомодели, оно было чуть выше колена, а на почти двухметровой Ане вообще смотрелось как длинная блузка. Стелла походила кругами, хмыкнула и посоветовала надеть чёрные плотные колготки, чтобы не светить трусами и не отморозить себе придатки на праздник, да и на всю оставшуюся жизнь. Аня стояла возле зеркала и оттягивала подол вниз поочередно со всех сторон, но платье не становилось от этого длиннее. Плотные колготки действительно немного сглаживали эффект, но ноги были такими длинными, что не помещались в скромное общажное зеркало, найденное на помойке. «Надо брать быка за рога, надо брать быка за рога», — крутилось у неё в голове. Она накинула пальто, натянула сапоги и с мрачной решительностью вышла за дверь.

На площади было раз в сто, а то и в тысячу шумнее, чем в студенческой столовой — смех, крики, музыка, звон бутылок, взрывы петард сбили Аню с панталыку, завели, закружили, пог-

¹ Немецкий телеведущий, артист

рузив в странное возбуждённо-заторможенное состояние. Чеканным шагом она прошла почти до самого вокзала, напроочь забыв, что договорилась встретиться с однокурсниками на другой стороне площади, возле собора. Споткнувшись взглядом о мутный матовый фасад вокзала, Аня застыла на месте, резко развернулась, вонзила, как обычно, ногти в ладонь, чтобы сосредоточиться, и зашагала ещё быстрее в обратном направлении.

Уже почти у собора она почувствовала, как кто-то сильно дёргает её за рукав пальто. Аня обернулась и увидела раскрасневшуюся запыхавшуюся Сабину, которую все по её собственной просьбе называли «Биньхен» — пчёлка. Судя по всему, Биньхен уже неплохо накатила и радостно теребила Анин рукав, крича: «А я тебя зову, зову! Зову, зову! А ты бежишь, как продавец соли!» Аня подумала, что ослышалась, и медленно повторила: *Wie ein Salzmann?* Биньхен расхохоталась своим тонким, зудящим смехом и стала увлечённо рассказывать этимологию этого немецкого выражения, попутно сравнивая его с французскими и испанскими идиомами, но Аня уже не слушала. Вонзив ногти в ладонь ещё глубже, она пыталась оставаться предельно сосредоточенной, повторяя как заклинание: «Быка за рога, быка за рога». Она не чувствовала ни зловредного ветра, кусавшего её за коленки, маячившие между высокими сапогами и полами старенького пальто, не слышала звуков бурлящей площади. Время застыло. Все чувства сконцентрировались в пульсирующей ладони, откуда бело-розовыми волнами шли импульсы очищающей, живительной боли. Эта боль раздвигала шум и складывала действительность в чёткую картинку.

Маркус уже стоял возле собора, окружённый стайкой одногруппниц. Пришли не все, а человек шесть, самых отчаявшихся и одиноких. Ну конечно: все остальные сидят в весёлых компаниях таких же семейных, как и они сами, крепко держат за руку добытого партнёра, а другой рукой едят оливье или что там эти немцы едят на Новый год, тоскливо подумала Аня. Так, соберись, одёрнула она себя, вспомнив, что не успела поужинать. Перед глазами плыли накрытые новогодние столы, винегрет призывно блестел рубиновыми кубиками, холодец похабно покачивал холодными боками, пирожки округло млели на подносе. Аня усилила напор ногтей в ладонь и сосредоточилась.

По кругу шла бутылка шампанского, вот очкастая хипстерша Бэрбэль передаёт её Маркусу и хихикает, вот он берёт бутылку и делает большой глоток и вдруг протягивает бутылку Ане. Она смотрит ему в глаза и наконец-то разжимает руку, освобождая ладонь от нажима ногтей, но пальцы одеревенели и не слушаются, ладонь ноет. Все вокруг замолкают, скучиваются плотнее, как одна команда, и смотрят, как Маркус всё протягивает и протягивает эту злополучную бутылку, а Аня, эта длинная балда, чего-то медлит и, как всегда, портит всем настроение своей заторможенностью.

Тут Биньхен ещё раз дёрнула Анин рукав, да так рьяно, что пальто сухо треснуло и немного покосилось. Аня встрепелась, схватила онемевшей рукой бутылку, но та, скользнув, ухнула вниз, расплёскивая острые брызги по грязной брусчатке. В эту же секунду за спиной рванули петарды, и вся компания вздрогнула, вскрикнула, заворопшлась.

— Супер! Ну и что бухать теперь будем? — сварливо поинтересовалась Конни.

Маркус откашлялся и сказал:

— Да ничего страшного, не переживайте. На вокзале же есть киоск. Сейчас быстро схожу и возьму новую бутылку.

— Ага, интересно! А с какой такой стати ты должен туда переться? Пусть Аня и идёт, раз она уронила бутылку, — никак не могла уговориться Конни.

Аня стояла немного поодаль — во время падения бутылки она инстинктивно отпрыгнула — отрешённо смотрела на Маркуса и незаметно разминала ладонь. Боль ушла, и сразу же нахлынула прорва других чувств — холод, голод, испуг, волнение, разочарование — и ещё сто пятьдесят оттенков душевного и телесного декаданса. Аня сделала глубокий вдох и несколько раз моргнула, чтобы сдержать слёзы. Маркус истолковал это как их тайный библиотечный знак. Аня всегда так моргала, когда уставали глаза от многочасового чтения, предлагая выйти из читального зала в кафетерий. Появившись, он кивнул в сторону вокзала и сказал: «Ну, пошли», — оставив всех остальных, и особенно Конни, в недоумённом оцепенении.

Они двигались к вокзалу, продираясь через гремящую и грохочущую толпу: Аня немного впереди, по старой привычке. Её всегда посылали вперёд в толпе — она служила одновременно маяком и бульдозером для всех остальных. Люди машинально расступались, оборачивались, глазели вслед, оставляя широкий проход идущим позади. Но в этот вечер всё шло не так. Толпа и не думала расступаться, а плотной массой топталась на месте, зубоскалила, харкалась огнями, набухала, как дрожжевое тесто, забытое на ночь. Надо было собраться, чтобы спасти ситуацию, и Аня вновь вонзила ногти в ладонь, заглушая мрачную внутреннюю полифонию. Она продиралась вперёд и вперёд, позабыв обо всём, кроме Маркуса. После — на следующее утро, через неделю, через год — она силилась вспомнить тот момент, когда началось самое странное и невыносимое, но не могла, не могла ни понять, как это произошло, ни найти оправдание своей реакции. Руки, много рук, злых, грубых, мозолистых, оставляющих затяжки на колготках, царапающих бёдра, попу, живот, грудь, хватающих жадно и остервенело, мяли и трепали, толкали то вперёд, то в сторону, так что Аня еле удерживалась на ногах. Она ещё сильнее вонзила ногти в ладонь, стараясь не сбиваться с курса. «Лишь бы Маркус не заметил, лишь бы Маркус не заметил», — вертелось у неё в голове.

Неожиданно Аня почувствовала совсем другое — нежное и осторожное прикосновение. Не оборачиваясь, она поняла — Маркус взял её за руку. Ура, свершилось! Значит, всё получится. Всё будет хорошо. Сейчас они вырвутся из этого ада, и начнётся новая, спокойная жизнь. «Сейчас, сейчас», — шептала она, чуть не рыдая от избытка чувств, но многорукое чудовище никак не желало прекращать своё грязное дело — руки, руки, десятки рук тёрли, щипали, щупали всё её тело, забирались под пальто, под платье, в колготки, в трусы. «Наверное, я сплю, — подумала Аня. — Конечно, я сплю, и всё это мне снится. Этого не может, просто не может быть, тем более, здесь в Германии и прямо на площади». Она шла и шла, по инерции пробивая дорогу вперёд, таща Маркуса за собой, как на буксире. Прямо перед вокзалом толпа выплонула сначала её, потом его, не отпускающего её дрожащей руки.

Шампанского не было. «Всё разобрали», — пожал плечами хмурый продавец в шапке Санта-Клауса, осуждающе посмотрел на потрёпанное Анино пальто с двумя недостающими пуговицами и растерзанные колготки, а затем предложил самую дешёвую водку, бело-зелёную «Московскую». Маркус вопросительно взглянул на Аню через плечо. Та выдавила улыбку и показала их библиотечным знаком «бесконечно прекрасно», нарисовав указательным пальцем в воздухе лежащую восьмёрку. Маркус криво улыбнулся, кивнул и быстро расплатился. Одним рывком открутив ядовито-зелёную пробку, он приложился к узкому горлышку, сделал большой глоток и страшно закашлялся. От кашля он весь затрясся, слёзы выступили на глазах и, чтобы как-то остановить этот приступ, он несколько раз сильно ударил себя в грудь кулаком и наконец затих. После медленно подошёл к Ане, протянул ей бутылку, посмотрел куда-то вбок и начал: «Ты извини...» Аня не дала ему договорить, взмахнула руками, затараторила: «Да ты что, ничего же совсем, да всё же хорошо, да ладно тебе...» Маркус энергично помотал головой и прервал её, обращаясь к огнетушителю в углу: «Ты извини, тут такое дело, мне надо идти, я другу обещал». Он протягивал бутылку вперёд горлышком, точно так же, как делал всего полчаса назад возле собора, а Аня опять медлила, понимая, что всё закончилось, что ничего уже не будет — ни совместных походов по обувным магазинам, ни цибриков, ни фикуса. Маркус стоял с бутылкой, большой и нелепый, гипнотизируя огнетушитель в углу магазина. Аня не шевелилась, скрестив на груди руки и намертво обхватив свои плечи руками так, как, наверное, полуживые жёны обнимали на перроне бойцов, вернувшихся с войны. Продавец начал странно коситься в их сторону. Тут колокола собора рассыпались праздничным звоном, Аня очнулась, громко всхлипнула, выхватила наконец бутылку из рук Маркуса и крепко-накрепко прижала её к груди, как младенца.

Маркус выбежал из магазина и помчался всё быстрее и быстрее в сторону Рейна, а затем по кривым, плохо освещённым улочкам старого города. Вокруг всё стреляло, взрывалось, свистело и ухало. Возле одного из домов он притормозил и несколько раз нажал кнопку домофона. Раздалось хриплое жужжание, дверь открылась, и на одном дыхании он взлетел на третий этаж.

Дверь открыл парень с плюшевыми лосиными рогами на голове, он немного пошатывался, но сохранял бодрость духа.

— Да ладно! Ты? — закричал он на всю лестничную площадку. — А я уж не ждал!

— Привет, Роберт, — пробормотал Маркус, задыхаясь. — Вы тут как, сидите ещё?

Роберт кивнул, со вкусом приложился к бутылке «Кёльша»², широко улыбнулся и продолжил громогласно вещать:

— Да, а что с твоей дамой сердца, которой ты посвятил столько сонетов? Где та прекрасная Анна, чьи глаза сияют, как там было, подожди, как волшебное северное сияние, точно, чьи губы такие, что хочется, чёрт, не помню. *Et ta bouche est charmante*³! Где же она, где?

Маркус мелко скривился и пробормотал:

— Оставь, не сложилось как-то сегодня.

Но Роберта уже несло, и он вдохновенно продолжал:

— Очень, очень жаль! Я бы с удовольствием на неё взглянул, и Сильвия, кстати, тоже. Мы даже сделали ставки, и я победил, хо-хо! Я же тебя знаю, как облупленного!

Роберт говорил и говорил, раскачиваясь и размахивая пивом, и совсем не замечал, как Маркус всё больше менялся в лице.

— А я так и знал, что смелости у тебя не хватит сказать ей. А мог бы сейчас целоваться с ней на площади, и всё такое. Ты просто трусил! Зассал!

Маркус сделал резкое движение, бутылка пива спикировала на бордовую ковровую дорожку подъезда, закружилась и запенилась, Роберт пошатнулся и опустился на порог, скорее от удивления, а не от самого удара. Пощёчина была неловкой и неумелой. Маркус с отвращением потряс кистью руки, как будто стряхивая паука, тяжело опустился на порог возле Роберта и вдруг заплакал.

— Я не знал, что делать, понимаешь, не знал, — говорил он полушёпотом, вцепившись в оленей на толстом свитере Роберта. — Их там сотня была, не меньше, а я один, ну что я мог

² Сорт пива

³ И уста твои любезны (фр.; ссылка на Песнь Песней Соломона, 4:3)

сделать, что? Как я теперь буду смотреть ей в глаза, после всего этого?

Роберт сидел, покачивая плюшевыми рогами и ничего не понимая, тёр щеку и приговаривал: «Ты это, не надо, я не хотел, ты извини...»

На его щеке загорался след от пощёчины, принимая форму пятиконечной звезды.

Аня оторвала бутылку водки от груди, шагнула на улицу и прямо под фонарным столбом залпом опустошила её, закинув голову и давясь слезами. На столбе висел огромный чёрно-белый баннер, буквы растекались и вихляли, но Аня всё же с трудом смогла прочесть: *Kein Mensch ist illegal*⁴. В глазах потемнело, звёзды закружились в безумном хороводе, ноги подкосились, и она тяжело рухнула на затоптанную мостовую. Последнее, что пронеслось перед её глазами, были кренящаяся башня собора и полумесяц, вспарывающий ржавым серпом тугое небо. **¶**

⁴ Не существует людей вне закона (нем.)



Дмитрий Белкин

Послание продвинутому мигранту¹

Написано подшофе в одном из баров
берлинского района Mitte

Любезный незнакомый друг!

Как можно быстрее преодолей ощущение бедствия, с которым ты — чаще всего переселенец из страны, где происходит какая-либо катастрофа — живёшь годами. Многие поезда уйдут в Германии без тебя, но это всё ерунда. Обожди немного, схорони предчувствие приближающегося апокалипсиса. Здеп-ним людям не нравится это чувство. У них самих его выше крыши.

Расслабься, но и палку никогда не перегибай. Чрезмерная ирония может быть вскоре воспринята как угроза. Сарказм, который с избытком накапливается у тебя в связи с эмиграцией и не всегда безоблачным процессом вживания, смерти подобен. Особенно при общении с начальством. Не торопи своих собеседников, а в первую очередь — себя, и сарказм сойдёт на нет. После этого общайся дальше, но, пожалуйста, по-деловому и обходительно. Приглуши драмы дней минувших. Лучше лишний раз сходи в театр — проживи чью-либо драму там. Твоя неудовлетворённость тем или иным — твоё личное дело. Ты не превратишь её в удовлетворённость, если ты явно её выражаешь. Этим ты ещё более усиливаешь неуверенность в людях вокруг себя, которые и без того изрядно неуверенны в себе. Не прибегай к американскому *всё великолепно*, поскольку это не более чем иллюзия. Но откажись и от немецкого *всё невозможно*. Пребывать в негативе — прерогатива местных жителей, порой их последнее прибежище.

¹ Фрагмент из книги *Germanija. Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde* («Дойчлянд. Как я в Германии стал евреем и взрослым»). Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2016. ISBN 978-3-593-50580-0

Dmitrij Belkin

Brief an einen fortgeschrittenen Einwanderer¹

Verfasst im angetrunkenen Zustand in einer Bar in Berlin-Mitte

Lieber unbekannter Freund!

Überwinde so schnell wie möglich das Gefühl einer Katastrophe, mit dem du — meistens ein Einwanderer aus dem Land einer Katastrophe — seit Jahren lebst. Viele Züge fahren zwar in Deutschland ohne dich ab, doch das macht überhaupt nichts. Warte ab, begrabe die Ahnung einer nahenden Apokalypse. Die Menschen hier mögen dieses Gefühl nicht.

Sie verfügen darüber schon selbst in einem übermäßig hohen Maß. Sei locker, aber nie zu locker. Überflüssige Ironie kann bald als eine Bedrohung aufgefasst werden. Sarkasmus, der sich bei dir im Zuge deiner Einwanderung und deines nicht immer wolkenlosen Ankommens reichlich angesammelt hat, ist tödlich. Insbesondere in der Kommunikation mit den Chefs. Gib deinem Gegenüber und vor allem dir selbst Zeit — der Sarkasmus legt sich. Dann kommuniziere weiter, aber bitte sachlich und zuvorkommend. Blende vorherige Dramen aus. Geh lieber einmal mehr ins Theater — erlebe dort die Dramen der anderen. Deine Unzufriedenheit mit diesem oder jenem ist deine persönliche Sache. Du machst aus ihr auch keine Zufriedenheit, wenn du sie laut artikulierst. Du verunsicherst so vielmehr die ohnehin schon stark verunsicherten Menschen in deinem Umfeld. Praktiziere nicht das amerikanische »Alles ist großartig!«, denn das ist eine reine Illusion; lass aber auch das deutsche »Alles ist unmöglich!« beiseite — negativ zu sein, ist eine Prärogative der Einheimischen, oft ihr letzter Hafen.

¹ Ein Auszug aus dem Buch »Germanija. Wie ich in Deutschland jüdisch und erwachsen wurde«. Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2016. ISBN 978-3-593-50580-0

Ухудшение твоего профессионального положения ещё ничего не значит. Всё когда-нибудь изменится к лучшему или устанется на добротном среднем уровне. Эмоциональное желание всё исправить в основном ведёт к ещё большему падению. Ты думаешь, что нужно что-то говорить, но я тебе скажу: лучше промолчать. Конечно, ты можешь открывать рот, делиться переживаниями и жаловаться — столько, сколько ты хочешь. Однако уясни, что в этом случае тобой займется биржа труда, ведомство социального обеспечения и/или психиатры.

Может случиться и так, что с тобой будут играть. Искусство интриги, главным образом при иерархических отношениях, распространено весьма широко. Не указывай своему визави на некрасивые стороны игры, которую он ведёт с тобой. Его страх, его дойче-страх (*German Angst!*), возможно, ещё сильнее, чем твой страх переселенца. Поскольку тревога, охватывающая из-за необходимости принимать негативное решение, воистину кошмарна. Надеюсь, что сознание этого немного тебя утешит. Терпи, учись выносливости, молчанию и выжиданию — даже когда в тебе всё вопиет о переменах. Держи свой темперамент в узде. Никогда не пиши нервных, недовольных писем по *e-mail*, а вместо того, чтобы кричать, — шепчи. Дурацкое письмо, неловкое слово — всё это застревает в головах, и мнение, единожды сложившееся, исправляется в Германии с большим трудом.

Не ожидай поддержки, когда ты начинаешь безнадёжную борьбу с кем-то «наверху». Ты не добьёшься революционных ситуаций, в том числе и если ты пребываешь в стране романтической мечты о справедливости 1968-го года. В Германии люди ищут стабильности, они не хотят потрясений — по крайней мере, чтобы потрясения эти не исходили от приезжих. В Дойчлянде сплывают только себя и своё непосредственное окружение. Не пытайся раскачивать лодку. Иди на компромиссы и поднимайся на борт корабля с лёгкой застенчивой улыбкой. Займи каюту во втором классе или поищи место у прохода — чтобы в случае необходимости ты мог бы быстро уйти. Какое-либо решение, принятое против тебя, скорее всего, будет долго «вызревать», и за время этого процесса может ещё быть исправлено. Однако когда оно «вызреть», у тебя не будет ни

Die Verschlechterung deiner beruflichen Situation bedeutet noch gar nichts. Die Dinge entwickeln sich irgendwann zum Besseren oder stabilisieren sich auf einem guten mittleren Niveau. Das emotionale Korrigieren-Wollen einer Situation mündet meistens in einen tiefen Abgrund. Du glaubst, man muss etwas sagen, ich sage dir: Man sollte besser schweigen. Natürlich darfst du reden, offen sein und dich beklagen, so viel du möchtest. Aber sei dir darüber im Klaren, dass dann das Arbeits— beziehungsweise das Sozialamt und/oder die Psychiatrie übernimmt.

Es kann passieren, dass mit dir gespielt wird. Die Kunst der Intrige, zumal innerhalb eines hierarchischen Verhältnisses, ist weit verbreitet. Weise dein Gegenüber keinesfalls auf die unschönen Seiten seines Spiels hin, das er gerade mit dir betreibt. Seine Angst, die German Angst, ist eventuell noch größer als deine Einwandererangst. Denn die Sorge, eine negative Entscheidung treffen zu müssen, ist furchtbar. Ich hoffe, diese Gewissheit tröstet dich ein wenig. Gedulde dich, lerne zu ertragen, zu schweigen und abzuwarten — auch wenn alles in dir nach Erneuerung schreit. Zügle dein Temperament. Schreibe nie genervte, unzufriedene E-Mails, und flüstere statt zu schreien. Eine blöde Mail, ein ungeschicktes Wort — so etwas bleibt gerne hängen, und ein erst mal entstandenes Image lässt sich in Deutschland nur noch schwer korrigieren.

Erwarte keine Unterstützung, wenn du einen hoffnungslosen Kampf mit jemandem »da oben« startest. Du schaffst keine revolutionäre Situation, auch wenn du in einem Land der revolutionären Gerechtigkeitsromantik der 68er bist. In Deutschland sucht man Stabilität und will keine Umbrüche, zumal keine, die von den Zugezogenen initiiert werden. In Germanija »konsolidiert« man sich selber und die unmittelbare Umgebung. Versuche erst gar nicht, das Boot ins Wanken zu bringen. Mach Kompromisse und betritt das Schiff mit einem leicht schüchternen Lächeln — nimm dir eine Kajüte in der zweiten Klasse oder suche dir einen Platz am Gang — damit du bei Bedarf schnell wieder gehen kannst! Eine gegen dich gerichtete Entscheidung wird meistens lange reifen und kann noch während des Reifungsprozesses korrigiert werden. Wenn sie aber gereift ist, hast du nicht den Hauch einer Chance, sie zu revidieren. Außer du bist in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, was du meistens als ein

малейшего шанса на его пересмотр. Разве что у тебя бессрочный рабочий договор, однако чаще всего у иммигрантов такого нет. Никогда не поддавайся ненависти, даже когда ты сталкиваешься с неприкрытым проявлением садизма. Но и не возлюби своих мучителей, понеже как может выглядеть такая любовь? Лучше будь меньше, чем больше, сочувствуй другим и будь корректным, если ты хочешь нормально существовать на рабочем месте. Найди визионеров, свяжись с ними! В один прекрасный день ты их всех узнаешь, их не так много в Германии, они не высовываются — но они есть!

Помни: когда все потрясения останутся в прошлом, ты вызубришь всё вышеуказанное и будешь внешне хладнокровным и позитивно настроенным, тогда-то и вступит в силу высказывание Метусаликса, персонажа комиксов про Астерикса: «Ты же знаешь меня, я ничего не имею против иностранцев. Ряд моих лучших друзей — приезжие. Но эти приезжие — не отсюда!» Увы, с этим высказыванием ты ничего не сможешь поделать — хотя, может, твои дети и смогут. Повремени немного.

Увидимся на кладбище, однако и в могилу нужно постоянно вкладывать деньги — ты, несомненно, видел зелёные листочки с напоминанием на неоплаченных могилах. Мёртвых предупреждают: ведомство работает и на том свете.

Думай о себе, почитай других, надейся на своих детей. Твоя осень обязательно станет их весной весной — и это отнюдь не такая мрачная перспектива! Удачи на работе в Германии, мой друг! Оставайся терпеливым и понимающим, общайся с людьми и не повторяй сам то, что ранее критиковал в других — мы, иммигранты, — хамелеоны, и очень склонны к неосознанной мимикрии.

Я очень уважаю твой путь и желаю тебе всего наилучшего!

Твой Дмитрий. **Б**

Перевод с немецкого: Григорий Аросев

Einwanderer nicht bist. Hasse nie, auch wenn du mit einem wenig verdeckten Sadismus konfrontiert wirst. Liebe auch nicht deine Peiniger, denn wie soll eine solche Liebe funktionieren? Mach dich eher kleiner als größer, gib dich aber auch solidarisch und loyal, wenn du das positiv Normale an deinem Arbeitsplatz leben willst. Finde die Visionäre, verbünde dich mit ihnen! Du wirst sie alle eines Tages kennen; es gibt nicht viele davon in Deutschland, sie halten still — aber es gibt sie!

Merke: Wenn alles Turbulente vorbei ist, du das oben Beschriebene gelernt hast und nun äußerlich gelassen und positiv gestimmt erscheinst, dann tritt der Satz des Methusalix aus dem Asterix-Band Das Geschenk Cäsars in Kraft: »Du kennst mich doch, ich hab' nichts gegen Fremde. Einige meiner besten Freunde sind Fremde. Aber diese Fremden da sind nicht von hier!« Gegen diesen Satz bist du leider machtlos, deine Kinder vielleicht nicht mehr — warte ab.

Wir sehen uns auf dem Friedhof, doch auch er will zunächst dauerfinanziert werden — du hast bestimmt die grünen Warnzettelchen auf den unbezahlten Gräbern gesehen. Die Toten werden angemahnt — das Amt funktioniert auch im Jenseits. Denke an dich, wertschätze die anderen und hoffe für deine Kinder. Dein Herbst wird bestimmt zu deren Frühling — und das ist keine schlechte Perspektive! Viel Glück beim Arbeiten in Deutschland, mein Freund! Bleibe geduldig und loyal, rede mit Leuten und wiederhole selber nicht, was du bei den anderen früher kritisiert hast — wir Einwanderer sind Chamäleons und neigen stark zu einer unbewussten Mimikry.

Ich habe einen großen Respekt vor deinem Weg und wünsche dir das Beste!

Dein Dmitrij. 

Михаэль Шерб

элегия для Марины Гарбер

Рвами земля распорота —
Надо бы сшить травой.
Плоть моя — алыт — до ворота,
Выше звучит гобой.

Молнией стриж расстёгивает
Неба стальную гладь.
Пусть мне расскажет сёгун мой
Как это — не дышать.

Пусть мне подарит, избранному,
Остров, да покрупней,
С бухтой, где стынут призраки
Парусных кораблей.

Сны порублю я в крошево,
К ним подмешаю быль.
Выйдут тумана лошади
Пепельный мять ковыль.

Стану в белёсом мареве
Тушью чертить стволы.
Будут во тьме над травами
Сонные плыть волны.

Я разукрашу инеем
Слабый язык свечи,
Чтобы стеклянно-синие
Пели огни в ночи,

Чтоб в серебристых зарослях
Рядом лежать с тобой:
Выдох альта — диастола,
Систолы вдох — гобой.

Дымом костра створоженна,
Мягкою станет твердь.
Смерти не будет. Может быть,
Это и будет смерть.

элегия для Майи Шварцман

Ты устанешь от улиц-жгутов
И застывших фасадных оскалов.
Слишком узкие кольца мостов
Не натянешь на пальцы каналов.

Лишь тоска разольётся сильней
Из-под кровель сомкнувшихся сводов, —
От тягучих подводных теней,
До протяжных гудков пароходов.

Это жизнь проплывает теперь
Вереницей бессмысленных сводок,
Незаметных весенних потерь
И безрадостных зимних находок.

Так слипаются катышки лет,
Так стекаются шарики ртути.
Балерина на ножке-игле
Фуэте свои крутит и крутит.

Это время сквозит из дверей,
Из ослепших глазниц маскарадов.
Это смерть проплывает, и ей
Ничего уже делать не надо.

элегия для Ирины Иванченко

Когда б я лежал, обесточен,
У ног твоих грудой руды,
В туннелях моих червоточин
Струились бы стебли воды.

Когда бы бетонной плитой
У ног твоих снова прилечь, —
Не мёртвой водой, а живою
Журчала б сердечная речь.

Я был бы велик и громоздок,
Как воздух, которых притих,
Чтоб днём любоваться на звёзды
Из гулких колодцев твоих.

элегия для Лили Газизовой

Сквозь высокие тёмные окна
Позволяют смотреть по ночам,
Как горят золотые волокна
Фитилями на чёрных свечах.

Зажигается неба проектор,
Полон спичечных звёзд коробок,
И вязальная спица проспекта
Утыкается в лунный клубок.

Шорох шин как набухшая вата,
Ветер треплет лохмотья реклам,
Беспризорные лужи-котят
Робко жмутся к озябшим ногам.

На безлюдном проспекте так ярко,
Все плывет в неподвижном огне,
И деревьям уставшего парка
Тяжело шелестеть в полусне.

элегия для Анны Дымковец

В разводах гуаши мне чудится Древний Китай,
Точёная кость и стеклянная звонкая небывь
Пергаментных старцев, хранителей облачных тайн,
Верёвочный мост, уводящий в янтарное небо.

Мне снится дракон, и огонь на его языке,
И ворон, который слетает на землю, проворен.
Я вижу глаза его медные: в каждом зрачке
Чайники, как ласточки, вьются меж маковых зёрен.

Там поле начертано тушью на каждом зерне,
И листья платанов слепых превратились в ладони,
Там ливни идут босиком по колючей стерне,
И кровью рассветной потеют небесные кони.

Сегодня приснился мне призрачный Древний Китай.
Там стебли кувшинок проворно в венки заплетая,
Мелькают прохладные пальцы изнеженных дев,
Струятся тела их, по пояс в прозрачной воде,
И длинная музыка льдинкой над озером тает.

элегия для Михаила Юдовского

Снова пыль опускается медленно, словно по трапу.
Снова лето кладёт на затылок тяжёлую лапу,
Или ветер протяжную ноту берёт на гобое.
Вереницы венер возникают и гибнут в прибое.

В набегающем облаке - солнца раскисший обмылок.
Пусть уставшее лето мне лапу кладёт на затылок,
Пусть исчезнут сады, и, невидимы, стынут на скалах
Вереницы венер, растворённых в морских минералах.

В тесной комнатке — стопки журналов да торсы бутылок.
Уходящее лето мне лапу кладёт на затылок.
Жаркий ветер дудит на гобое, но ветру не внемлют
Вереницы венер, и спускаются плавно под землю.

Это зёрнами мака рассыпалась южная темень,
Это лето кладёт мне беспалую лапу на темя.
Задыхается ветер, отравлен золою и зноем.
Вереницы венер улыбаются мне под землёю.

элегия для Александра Тенишева

Я хотел написать пару строк о тебе и себе,
А пишу о столовом сукне,
И о брошенной броши жемчужной,
И о рыбах прозрачных, которые мёрзнут на дне,
В чешуе, как в броне,
Словно пальцы в перчатке кольчужной.

Эти рыбы давно проиграли в борьбе видовой,
Большероты уж слишком они, чересчур пучеглазы,
Потому неподвижны, что намертво сжаты водой,
Это рыбы-алмазы.

Даже стон им даётся с трудом, ведь не так-то легко
Испускать пузырьки, из которых приливная слеплена пена.

Да не будет дано опуститься нам так глубоко,
Чтоб услышать их пенье.

Валерий Матэтский

Оторопь терпкой каннели

М. М.

Я буду с Вами на Вы!
 Я буду Вас осторожно
 поворачивать, как осенний лист,
 прикрывая шляпой астральный свист,
 увлекая Вас и себя её полями,
 шляпы, то есть как авгиевыми яслями
 прикрывал свой имидж Геракл и
 сложно —
 слаженными движениями осенних па,
 мы обрушимся на
 державный Вы —
 стрел стрел, порождающих в сердце
 мохнатый сплин,
 обманутых страстью пустых перин,
 простынями икающих
 Bed-design

в этот пошло-тревожащий,
 кровоточаще-кричащий и
 систематически пускающий
 «петуха»
 и слезу,
 траекторией Ниагары
 некрофильного Вуду
 в Иуду Dasein.

Ах, истома
 томной души
 и ши —
 канирующая оторопь
 терпкой каннели
 осенней прели.

Бродяга неба

Я сплю
бродягой неба
В объятьях век причала,
Где алым чаем невод
Светила укачало.

Блюдце литании

День опустел,
Как кофейная чашка.

Выпито солнце.

Красный осадок на дне.

Тонкий крик чайки,
Как талия чайной ложки,

Блюдцем литании
Катится по Луне.

Пламенеющий павлин

Моросило.
штаны тумана — шатало.
Шалая река густела телом.

Павлин,
пламенеющий, как пылающий ангел,
уступает мне место в метро трамвая.
Я покорно падаю, лицом вверх,
в высокую траву.

Раскинул плечи.

Вздрогнул.

Молоком обтягивающих рейтуз —
гусары.

Смех лошадей.

Дыханье грив —
кофейными шпалами клавиш рояля.
Игры бабочек воздуха.

Вздых,

друтой...

Кто ты? —

Тыканье муравьёв
в муар красавицы ос.
Норвежским королём,
играя посудой в океане любви,
мчусь,
сильно ударяя ногами,
в чуингамную ночь.
Чайники глюкозы — бахромой пиона.
Поющие кенари.
Летающие кентавры.
Вибрация гамака Соляриса.
Розовый стрёкот белых лебедей.
Клювы клёкота Птух.
Набедренная повязка рассвета.
Вязнет в океане, РОЗА
ногой павлина,
пламенеющего в пылающем ангеле.
Уступите место.
Невеста.

Стекло в складку памяти.

Мята смята.

Меренга.

Ильдар Абузяров

Лестница на Марс

1.

— Шайсе¹, шайсе-почта, — выкидывал в корзину для мусорной почты один за другим конверты Мартин. Все письма были уведомлениями-штрафами, в которых предлагалось в обязательном порядке заплатить за квартиру, за свет, за интернет, за подписку, которую Мартин оформил как бесплатную на три недели и забыл вовремя от неё отказаться. В общем, стал жертвой изощрённого рекламного хода. А тут ещё письмо из библиотеки об очередном штрафе в два евро. И за что? За книгу об архитектуре, которую он взял, чтобы прочесть о домах района, куда он три месяца как переехал.

Мартин перебрался в шайсе-район Веддинг из-за некоторых финансовых затруднений. Но проблемы с деньгами — ерунда, если речь идёт не о здоровье. В Германию Мартин приехал около двух лет тому назад, чтобы сделать операцию на глазах. Выйдя из больницы, он взглянул на город и мир по-новому, как будто ему в клинике выставили резкость. Любуясь невысокими домами в стиле модерн, он понял, что в этом городе ему хочется жить. И он остался, работая сначала посудомойкой в ресторане, а потом мойщиком окон в клининговой компании. Наконец-то всё в фокусе. Вот только заказов стало маловато, а страховку нужно было оплачивать.

Райончик возле метро «Ослоэр штрассе» оказался вполне сносным, и Мартин первым делом записался в библиотеку на берегу живописной Панке. Эта речушка, временами рыжая от ржавчины, временами зелёная от водорослей, как волосы настоящего панка, будто кривлялась и выделялась на сцене безир-ка². Она то и дело выкидывала левое коленце и выписывала раз-

¹ *Scheiße* — дерьмо (Здесь и далее нем.)

² *Bezirk* — район

нужданные кренделя под бурную музыку эмигрантского райончика. Возможно, из-за её навязчивой красоты за пропущенные как листы календаря месяцы Мартин так и не притронулся к массивной книге, и сумма штрафов уже намного превысила стоимость самого фолианта.

Наречённый родичами Мартыном, Мартин ничего не понимал в ландшафте и градостроении. Ничего не смыслил в бетоне и панелях, в холодной архитектуре, в строительстве и ремонте, и потому книга огромным кирпичом валялась прямо на полу. Если поставить на неё голую ступню, холодная глянцевая обложка создавала неприятное ощущение необжитости.

И только одно письмо, написанное его дядей Зиннуром, кажется, было живым и грело душу. Распечатав конверт, Мартин поднялся из-за стола и подошёл к окну, чтобы свет, словно огонь свечи для молочных чернил, прояснил мелкий дядин почерк. Вид на улицу был бы ничего, если бы не один дом. Мрачная вытянутая коробка из тёмного кирпича со сплошными карнизами и решётками в пол-окна больше напоминала барак концлагеря. Уже какой месяц она отравляла Мартину настроение.

Письма из края вечнозелёных помидоров, как называл Зиннур их родовые татарские земли, были для Мартина словно глоток парного молока с мятой для больного ангиной. От письма пахло хлебом и полыньёю. Он вспоминал дом в деревне — деревянный сруб, каменная печь, запахи бабушкиного бальзама «Звёздочка», пухового, прохуdivшегося в нескольких местах платка, обгрызенные холодным ветром цветы герани на подоконнике, пожухлые гераневые россыпи звёзд за окном. От нахлынувших воспоминаний на лбу у Мартина тут же выступила испарина, будто он прижался горячим лбом к стеклу.

Если запивать помидоры молоком, да ещё зелёные, обязательно пронесёт. Однажды он ранним летом наелся молодых мелких яблок, и у него случилось несварение желудка, он, уже глубокой ночью, засел среди раскидистых кустов картофельной ботвы. И тут по маленькой нужде, перебравшись через жердины в огород, обрисовался дядя Зиннур. Было темно, хоть глаз выколи обожжённой до черноты иголкой. Мартин испугался, что сейчас дядя помочится на него, и, чтобы этого не случилось, он зарычал

и завизжал, когда дядя, расстегнув штаны, расслабился и уже собирался пустить внутреннее «я» по волнам. Грузный мужик, вскрикнув как женщина, бросился наутёк, сметая всё живое и неживое на своём пути. На следующий день он утверждал, что в сломанных жердинах виноват кабан, которого он накануне за-приметил в огороде. При этом белые дядины кальсоны висели на веревке, словно белый флаг, выброшенный мистическому зверю, сожравшему маленькое ведёрко плодов из сада с яблоками райскими и земляными...

2.

Оторвавшись от воспоминаний и письма, Мартин посмотрел на своих друзей — Мону и Стефана, которые вольготно расположились на кухне среди тускло мерцающих, как энергосберегающие лампочки, зелёных яблок, обсуждая последние экзамены в институте и новичков, у которых ещё молоко на губах не обсохло. Посмотрел, чтобы тут же снова вернуться к письму и воспоминаниям.

Семья Мартина, как и многие другие, — не только свод семейных преданий и легенд, рассказываемых за общим столом, но также фотоальбом с разорванными блёклыми кадрами воспоминаний, голоса, что остались в Мартиновой голове словно звуковые файлы.

Зиннур-абы приехал в деревню после тюрьмы. В городе у него жилья не было. По профессии он был электриком и, недолго думая, решил устроиться в «Местэнерго». Ездить по деревням, исправлять поломки, снимать показания счётчиков. Для этого надо было сдавать экзамен на профпригодность в головном офисе. Однажды, надев костюм, что в доме переходил из поколения в поколение, словно знамя полка, и фетровую шляпу, он отправился в районный центр. На аттестации он выгащил билет, об этом Мартин мог бы рассказывать словами дяди, ибо это была их любимая история, и они всей семьёй заучили её наизусть со всеми дядиными интонациями и даже воспринимали, а при случае и выдавали как свою.

— Вслух! — звучал дядин голос. — Когда я вслух назвал номер и прочитал вопрос в билете вслух, члены экзаменацион-

ной комиссии схватились за головы и начали извиняться. Им было так неудобно, что они предложили вытащить другой билет, потому что на этот вопрос ещё никто не ответил. И даже они не знали ответа. Но я не ступевался и сказал, что вопрос менявский (поднятый большой палец к небу!), и подробно всё описал. Я рассказал им, что такое метроном! И зуб даю, вся экзаменационная комиссия вытаращила глаза: «О, вы первый, кто ответил на этот вопрос о метрономе. Ибо даже мы не знали, что такое метроном!» И тут началось такое... На меня пришли посмотреть все работники конторы. Они шли нескончаемым потоком, спускаясь из своих кабинетов. А поскольку здание было большое, мне пришлось очень долго терпеть. В конце концов мне это надоело, и я развалился на диване, как Ленин в Мавзолее.

После своих слов дядя начинал громко смеяться. Но кроме заразительного смеха, дядя Зиннур обладал ещё рядом несомненных достоинств, ибо интересовался рок-музыкой, читал по-немецки журналы, играл танго на аккордеоне. А всё потому, что принадлежал к рабоче-крестьянской интеллигенции. Метроном — результат всенародного просвещения. Был такой уникальный тип культуры, созданный советской властью, когда даже во времена Великой Отечественной войны по деревням ездили с театральными постановками. И однажды в их деревню в Кукморском районе, из которой на войну с немцами-минотаврами ушло восемьсот прекрасных мужчин и юношей, — остались старики, женщины и дети, — приехал театр. Давали спектакль «Царь Эдип». Спектакль красочный — с хором и тогами. Прадед Мартина, как и вся деревня, с трудом говорил по-русски, но он всё же надел единственный на дом костюм и фирменную фетровую шляпу и, придя пораньше, занял место в первом ряду. Он с честью просидел первое отделение. С трудом выдержал второе. А вот когда на сцене заканчивалось третье отделение, он ровно на том самом месте, когда царь Эдип в припадке раскаяния ослепил себя и громогласно зарыдал, не выдержал — встал и во всеуслышание (опять эти звуковые файлы с голосами родственников!), громко прокашлявшись и кряхтя, сказал: «Говна-концерт».

— Я думал, будет менявски, а это говна-концерт, помойка, — повторил ещё раз прадед по-русски и вышел из зала, и за ним потянулись остальные родственники и односельчане, все как один, так и не досмотрев постановку.

Читая строки первой страницы дядино письма, Мартин словно видел эту семенящую из клуба цепочку стариков, женщин и детей, потому что, как и положено, на первой странице дядя передавал привет всем его (такова традиция) родным и близким, перечисляя их через запятую. А затем кратко рассказывал о том, кто Мартину передаёт привет, и тоже через запятую.

Если честно, первые страницы можно было спокойно отложить в сторону и перейти к сути письма, на третьем листе, где дядя Зиннур спрашивал у Мартина совета. Полтора года назад у Зиннура-абы родился внук — двоюродный племянник Мартина. Мальчик родился недоношенным, и, когда лежал в барокамере, у него отслоилась сетчатка. Хирургические вмешательства повторялись из года в год. Но единственное, чего удалось достичь, — ребёнок стал различать свет и тьму. До определённого возраста очки детям выписать нельзя, и мальчик сильно отставал от ровесников в физическом развитии. Зиннура-абы спрашивал, сталкивался ли Мартин с подобной болезнью и есть ли у них в Германии возможность вылечить эту напасть или хотя бы проконсультироваться у специалистов.

3.

На седьмой странице, исписанной ещё более мелким и спешащим почерком (видимо, дядя решил закругляться), он спрашивал, а видит ли он сам, Мартин, без линз и очков, что-нибудь, кроме света и тьмы. По сути, за этим вопросом скрывался другой — а стоит ли возиться со слепым ребёнком, есть ли у него шанс, а может, нужно смириться и отдать его в детдом. Читай — сбросить, как спартамца-калеку, в пропасть.

— Шайсе-почта, — скомкал Мартин последнее письмо и в сердцах выкинул его в корзину к другим письмам, талдычащим о выгоде и денежных отношениях в этом мире.

Разочарованный и обескураженный, Мартин будто отвернулся от божьего света за окном, уставившись в угол на эта-

жерку с горшком герани, — так ему было горько. Благо, в комнате за кухонным столом сидели его друзья — и их круглые сияющие лица сглаживали острые углы жизни. Стараясь изо всех сил, Мона рассказывала Стефану, как ещё один наш общий друг, Роберт, бросил ещё одну нашу общую знакомую, Долорес.

Долорес считала себя некрасивой, толстой. А однажды она пришла поздно вечером и заявила Роберту:

— А знаешь, я сегодня ужинала со Стефаном, но ты не ревнуй, мы всего лишь друзья.

— С чего мне ревновать? — оторвался от газеты Роберт — видимо, нервы его подвели, и он сильно приревновал Долорес. — Станет Стефан спать с такой страшилкой, как ты, после того как расстался со своей красавицей Моной.

— Ну не свинья ли! — Во время повествования Мона брала со стола то вилаку, то нож и стучала ими об стол. — Свинья, свинья, какая же он всё-таки свинья!

— Подожди, так кто кого бросил? — спросил Мартин, прослушавший половину истории.

— Формально — Долорес, но фигурально — Роберт. Ну не свинья ли?! Свинья, свинья! Форменная свинья! — начала опять стучать вилок по столу Мона.

— Точно, свинья! — согласился Стефан.

— Подожди, я кое-что тебе дам под горячую руку.

Мартин быстро сбегал в комнатку и принёс оттуда маленькую фаянсовую хрюшку, которую в Германии принято дарить на Рождество и которую друзья подарили ему, Мартину, накануне года свиньи.

— Вот, можешь её разбить. Тогда, наверняка, это возымеет действие, — протянул Мартин свинюшку Моне.

— Думаю, Стефан тебя научит приёмам вуду.

Стефан был верзилой негром и не понял, при чём здесь вуду. Он подсознательно очень стеснялся своего афроамериканского происхождения и даже комплексовал. Иначе как объяснить тот факт, что после этих слов Мартина он тут же собирался домой. А вместе с ним и Мона.

— Что ж, скатертью дорога, — стряхивал крошки со стола Мартин, понимая, что не только скатерть, пол, посуда, но и настроение были основательно испачканы.

4.

Итак, день был омрачён, и, не зная, чем себя отвлечь, Мартин взял тяжеленную книгу об архитектуре, собираясь одновременно заняться и умственной и физической зарядкой. Не успел он её открыть, как снова наткнулся глазами на тот самый дом, что не один завтрак, обед и ужин портил ему аппетит и отвращал вид из окна.

Под фото в полстраницы была небольшая статья, в которой говорилось, что дом на Дронхтаймерштрассе района Веддинг — гениальное авторское произведение звезды архитектуры Германии Ханса Кольхоффа. В своём творении один из именитейших архитекторов-модернист элегантным образом представил свой талант потребностям социально-го жилищного строительства. Красноватые маленькие прямоугольники, которыми облицована обращённая к улице сторона дома, ненавязчиво и прагматично объединяют поверхность стены с чёрными металлическими решётками перед высокими деревянными окнами.

— Где? Что? Когда? — Мартин аж подпрыгнул, как когда-то его дядя в огороде, чтобы разглядеть дом получше.

«Кирпичи, использованные в оформлении передней стороны дома, уложены около окон так, что возникает впечатление наличия оконных наличников-створок. Degewo — это организация, владелец домов в Берлине, квартиры в которых сдаются внаём. Кольхофф, построив в 1995 году этот дом, добавил эксклюзивный вариант в традицию берлинских домов, предназначенных для сдачи в аренду. Двадцать шесть квартир, в которых живут много семей с детьми, обладают большой лужайкой, маленькой игровой площадкой и уютным павильоном во дворе дома. Так родители всегда могут видеть, чем занимаются их отпрыски», — продолжал читать, проглатывая информацию блоками, Мартин.

«Характерно, что снаружи здание облицовано тёмным кирпичом, а со стороны двора дом выкрашен в небесно-голубой, который сливается с небом и производит ощущение единой с ним композиции. Возникает такое впечатление, будто небо распространилось до самого заднего двора». Мартин читал

и не верил своим глазам: «Они что, меня за идиота держат, эти новомодные архитекторы? Неужто они считают, что у меня нет глаз?»

«Шедевр архитектора Ханса Кольхоффа для социально нуждающихся слоёв населения прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль улицы и создаёт единый концерт с окружающей застройкой» — так заканчивалась статья.

— Говна-концерт! — выругался Мартин, швыряя тяжёлую книгу на пол. — И кусок дерьма, а не неба. Знаем, что там будет в этом дворе — мусор и собачьи экскременты, как и в других районах Веддинга.

5.

Отрыгнув прочитанное, Мартин опять с недоверием посмотрел в окно. И всё-таки некое любопытство и само сочетание слов «концерт» и «небо» заставило его выйти и посмотреть. Он решил сбегать по лестнице, потому что одна ступенька продлевает жизнь на секунду. Другой вопрос — зачем ему дополнительные секунды, если он не знает, зачем ему дана вся жизнь.

В их доме располагалась лавка старьевщика, и Мартин по привычке остановился, чтобы рассмотреть забавные вещицы. На этот раз его глаза, привыкшие копаться во всяком барахле, остановились на чашке. Он сразу понял, что чашка, стоявшая на блюде, которое в свою очередь стояло на тарелке, были из совсем разных опер. Нет, они подходили по тону, но всё же были не из одного наборов: тарелка — как спина кита, блюде, выгнутое, словно панцирь черепахи, и чашка на полусфере, на которой, взявшись за руки и откинувшись, стояли мальчик и девочка. Такого в жизни не бывает.

— Сколько? — спросил Мартин, зайдя к старьевщику. Кажется, тот был пакистанцем.

— Пять евро! — ответил тот, продолжая сметать щёткой пыль с вещей.

— За одну чашку? — изумился Мартин. — Неслыханные цены!

Неслыханные цены за осколки чужого счастья, за истории чужих семей, за растасканные по разным углам лавки внутренности чужого тепла и уюта.

— Нет, за весь комплект! — пытался соединить несоединимое и почти утраченное в один ансамбль эмигрант.

— Но эта чашка из другого набора! — вспомнил Мартин тёплые с парным молоком бабушкины чашки.

— Они продаются вместе! — стоял на своём пакистанец.

— *Blech!* — автоматически перевёл Мартин родное «жесть» на немецкий, не находя других слов.

— Почему жесть? Это фарфор! — засопровтивлялся пакистанец и на этот раз, — и как фарфор они продаются вместе.

Он широко улыбнулся, как бы давая понять, что согласен с наблюдением Мартина, но таковы правила, а правила в лавке пока ещё устанавливает хозяин, и не посетителю их менять.

Правильно истолковав лукавый взгляд продавца, Мартин растерянно посмотрел по сторонам.

— За пять евро, — напёлся он, — я возьму эту чашку вместе вон с тем китайским пластиковым будильником. Думаю, чашка к нему больше подходит.

— О'кей! — рассмеявшись, согласился продавец, уже не знавший, как избавиться от цветастого жёлто-красного барахла. — Будильник так будильник. Слово покупателя — закон.

Мартин взял из рук чужеземца будильник, и тот неожиданно затикал. Секундная стрелка качнулась, и время новой истории, от встряски ли батареи, от тепла ли нового хозяина, полетело вперёд. А может, и начало обратный медленный отсчёт.

6.

Положив чашку в один карман пальто, а будильник в другой (карманы и так были оттопырены), довольный улыбающийся Мартин вышел на солнечный свет, который после полумрака лавки проткнул раскалённой иглой-лучом его глазные яблоки. Чтобы не рисковать, он решил перейти дорогу у светофора.

Ослеплённый, он не мог видеть не только машин, но и сигнала светофора. Он всё ещё шурился и прикладывал козырьком ладонь к нахмуренным бровям, когда вдруг где-то слева чуть ниже сердечного желудочка раздалось протяжное «пи-и-ип», словно у него не было сердца, а вместо него — искусственный прибор, который нужно подзаряжать каждые двенадцать часов.

Прошло несколько секунд, прежде чем Мартин понял, что это звенит будильник. Ещё несколько секунд ушло на то, чтобы вытащить будильник из кармана. За это время слепая женщина, шаркая подошвами и стуча по мостовой палочкой, начала осторожно переходить проезжую часть. На середине полосы, сделав резкий вираж, её попыталась объехать машина. Сначала слева, но когда слепая старушка притормозила, услышав звук, — справа. Старуха метнулась. На полной скорости автомобиль вышиб из её рук палку, которая разлетелась на два куска. Пожилая женщина, откинувшись назад, грохнулась спиной и, возможно, головой на асфальт. Машина, не снижая скорости, скрылась из виду.

Только теперь Мартин понял, что во всём виноват будильник. Это услышав его звук, старушка стала переходить дорогу, потому что решила, что будильник — звуковой сигнал светофора. Мартин смотрел на падение человека, открыв рот и, одновременно, стремясь как можно скорее заткнуть, задушить будильник в кулаке.

— Скорую, — бросился Мартин на помощь женщине, — надо вызвать скорую! С вами всё в порядке?

— Нет-нет, не надо, — села старушка. — Со мной, вроде, всё в порядке. Только голова ужасно кружится...

— Я вас провожу, — предложил Мартин. — Где вы живёте?

— Лучше помогите мне найти палку — мой третий глаз, — попросила бабушка. — Я почти уже дошла.

— Палка, к сожалению, треснула, — объяснил Мартин. — Но не беспокойтесь, мы закажем новую! Скажите, у вас кости целы? Ничто не повреждено?

— Ах, очень жаль, — расстроилась пожилая женщина. — Тогда я принимаю ваше предложение. Без палки мне не доковылять самой.

Так они вдвоём вошли в арку самого ужасного дома в мире. По пути они познакомились. Мартин так старался поддерживать Илану под локоть, что забыл рассмотреть и двор, и внутренний фасад дома. Ему казалось, что кости женщины были такими тонкими, что могли вылететь из суставов и рассыпаться на мелкие части.

По привычке женщина выкидывала вперёд ноги и вместо палки ощупывала пространство носком. На ступеньки лестницы она ступала так же аккуратно, словно они были крылатыми качелями. Держась за выптербленные перила и перебирая связку ключей, словно крутя барабаны из детского городка, она выбрала нужный и, взяв его за середину бородки, направила в замочную скважину, которую нащупала другой рукой. Всё очень близко и зыбко.

7.

Только в квартире Илана расслабилась. Здесь ей был знаком каждый предмет. А вот Мартин наоборот стал осторожным, словно уловил тлетворный запах смерти и разложения. В квартире, большие комнаты которой выходили на противоположные западную и восточную стороны, пол был покрыт толстым слоем пыли.

— Не снимайте обувь, у меня не прибрано! — потребовала Илана, хотя Мартин и не собирался её снимать.

Посадив женщину в кресло-качалку, Мартин подошёл к окну, чтобы раздвинуть шторы и пустить шторм света в комнату. Но это ненамного облегчило положение, потому что окна были довольно-таки грязные из-за пыли и выхлопных газов, что поднимались с улицы. Грязь лежала и на подоконнике.

Словно в детстве, Мартин пальцем стал писать на окне.

«Свинья, — написал он об уехавшем с места аварии водителе. — Какой же ты водитель машины? Свинья!»

— Думаю, это мог быть и мой муж, — отозвалась старушка на слова Мартина, которые, как ему казалось, он проговаривал про себя.

— Как?! — удивился Мартин. — Что вы имеете в виду?

— Думаю, это мог быть мой муж, потому что однажды Франц вот так же оставил меня на середине дороги, растерявшись и почти рухнувшую наземь.

— Он вас бросил? — спросил Мартин, понимая всю неловкость своего вопроса.

— Нет, что вы! Он умер от сердечной недостаточности. Его сердце было увеличено в несколько раз.

— Соболезную, — сказал Мартин, всё ещё стоя спиной к женщине, и она это поняла.

— Вы ведь сейчас смотрите на дом напротив? — спросила Илана, желая поскорее переключить разговор на своего визави. — Расскажите, как он выглядит? Давно хотела знать.

— Ничего особенного в нём нет, — солгал Мартин. — Обычный барочный концерт. Чересчур много завитушек, балкончиков и полное отсутствие вкуса.

— Мой муж с вами бы согласился. Он это называл избыточным стилем. Франц утверждал, что наш дом — лучший в округе.

— А вы знаете, что ваш дом — настоящее произведение искусства? — продолжил Мартин. — Его построил известный архитектор. Снаружи он как крепость, а внутри — чистое небо.

— Не знала об этом, — сказала женщина, раскачиваясь в кресле. — Это социальное жильё. Мне его предоставили по инвалидности.

— Тем не менее. Его построил знаменитый архитектор Ханс Кольхофф. Он также построил одно из самых высоких зданий в Берлине — башню на Потсдамер плац.

— А вы знаете, он правда как небо. — Словно поймав волну, Илана согласилась и начала раскачиваться сильнее. — Когда я прихожу сюда, я расслабляюсь, разжимаю все мышцы, даже мышцы лица. И тогда у меня наступает ощущение полёта, особенно когда я сажусь в кресло-качалку. Как будто летаю. Я парю над городом.

— Хорошо сказано! — улыбнулся Мартин.

— Хотя что это я всё о себе да о себе. Хотите чаю?

— Сидите, сидите, — тоже спохватился Мартин. — Я сам всё сделаю.

Он прошёл в кухню и увидел в раковине гору грязной посуды с ошметками еды — картофелем и лапшой. Такой небьющейся «унисекс»-посуды, из «Икеи». Посуда, стоящая в кухонном шкафу, была вымыта так плохо, что на дне стаканов образовались многослойные чайные разводы. Тарелки и блюда напоминали ракушечник с наростами солевых отложений и моллюсками отбросов.

«Здесь работы на несколько бригад клининговых компаний!» — профессионально оценил ситуацию Мартин, прикидывая, во сколько обойдётся старушке уборка со всеми скидками.

8.

Пока чайник закипал, Мартин принялся искать чашку почище. Затем, под горой грязной посуды откопав один бокал, который, видимо, принадлежал хозяину квартиры и потому более-менее сохранил чистоту, сполоснул его, бросил на дно лягушку чайного пакетика и залил кипятком. Лягушка съёжилась и, словно краб, стала выпускать из себя чернила-внутренности, создавая облака видимости чая.

Вторую не чёрную изнутри посудину найти не удавалось. Да и не хотелось копаться в помоях раковины. И тут Мартину опять пришла оригинальная идея. Он достал чашку из кармана пальто, ту самую чашку, которую только что купил у старьевщика.

— Чай готов, — сам себе улыбнулся Мартин. Спустя секунду он внёс на подносе и поставил новую старую чашку перед старушкой, а сам, сжимая бокал в руке, занял исходную позицию у окна. Действие второе вот-вот должно было начаться.

В полной тишине Мартин наблюдал, как женщина взяла чашку руками и стала её ощущивать. И то, что она ощущала, тут же отражалось на её лице. Вся гамма недоумения и замешательства.

Илана раскачивалась в кресле, которое чуть-чуть поскрипывало.

— Откуда эта чашка? — спросила неожиданно серьёзно женщина. Она снова вся напряглась, и в наступившей тишине казалось — ещё движение, и она опрокинется вместе с чашкой назад.

Тут Мартин вспомнил, что это из-за его будильника она чуть не расшиблась.

— Не знаю. — Он так и не решился признаться. — Я взял её с буфета.

— С большого чайного шкафа? — уточнила женщина.
— До которого я не дотягиваюсь?

— Да! — подтвердил Мартин. — Именно!

Он уже пожалел, что снова решил соригинальничать. Потому что из-за этой своей оригинальности и остроумия он рассорился с друзьями и чуть не убил человека.

— И всё же очень любопытно, кто её принёс, — продолжала, раскачиваясь в кресле, рассуждать женщина. — Потому что, сдаётся мне, это не просто чашка. Это послание.

— Всё может быть, — пожал плечами Мартин.

— Вот здесь, — словно подтверждая свою догадку, произнесла Илана, — здесь на чашке рельефные контуры мужчины и женщины, оба вытянули руки, будто мужчина что-то передаёт женщине.

— Или мальчик зовет девочку поиграть в прятки! — невпопад ляпнул Мартин.

— Но поскольку, — продолжила Илана, — в руках у него ничего нет, можно предположить, что он передаёт именно эту чашку. А поскольку ни вы, ни я точно не знаем, кто её принёс, у меня есть догадка.

— И... — протянул Мартин, широко расплываясь в улыбке, которую Илана видеть не могла.

— Это мог быть только мой муж. У него была такая привычка — подкладывать подарки в неизвестное место. Он так радовался, когда я их находила, потому что любил именно сюрпризы. А просто так дарить подарки Францу не доставляло удовольствия. Только неожиданно. Поэтому каждый день у нас походил на игру...

— В сапёра или морской бой, — подхватил Мартин.

— В кошки-мышки.

9.

На щеке женщины появилась слеза. Мартин пригубил горячий чай, и глоток пробрал его до печени, словно он проглотил шпату или подорвался на mine.

— О, это было очень смешно! Однажды он подарил мне метроном и сильно смеялся, когда я пыталась разобраться, что это. Он умел смеяться беззвучно, как и вы.

После признания Иланы Мартин подумал, что она только прикидывается слепой.

— Я его пытала, мучила. Но он не признавался ни в какую. В конце концов я пошла в библиотеку и прочитала. Но по-прежнему продолжала делать вид, что не знаю. Потому что его забавляло, когда я спрашивала про метроном. Я чувствую, он где-то рядом. Чувствую его дух в этой комнате. Я поэтому не убираюсь и не пускаю уборщицу из службы помощи, чтобы сохранить всё, как было при нём, сохранить его запах. Когда его не стало, я всё ходила и ходила по квартире. Будто что-то искала. Всё вокруг опустело, а мне в этом опустении виделась некая недосказанность. И теперь я уверена, это его подарок, — сказала Илана, глядя куда-то мимо гостя.

Мартин обернулся и увидел метроном.

— Я ничего здесь не тронула, и вы, пожалуйста, не троньте. Я знаю, ему тяжело там без меня. Он ведь был таким беспомощным. Мне приходилось постоянно заботиться о нём. К тому же он очень фальшиво пел. Очень-очень фальшиво. Я, как слепой человек, обладаю прекрасным слухом. Но я всегда делала вид, что он прекрасно поёт. В какой-то момент мне даже стало нравиться, как он фальшивит. Так же, как ему нравилось, что я не вижу. Не вижу, например, когда он танцует для меня по воскресеньям стриптиз. Потому что, думаю, танцевал он ещё хуже, чем пел. Я же, по нашей договорённости, танцевала по субботам, танцевала превосходно, по крайней мере, Франц был жутко доволен. Но, скажу вам по секрету, иногда я притворялась, что ничего не вижу. Это когда он завёл себе любовницу. Он приходил от неё и, как слепой котёнок, метался по комнате. Делал всё невпопад. Сшибал предметы. Она его мучила, изводила до такой степени! Бедный птенчик, он уходил в ванную с телефоном, включал воду и старался говорить тихо. А я всё равно слышала. Я слышала даже, как он перепрыгивал презервативы.

10.

Илана говорила без умолку, а Мартин удивлялся, сколько в ней любви. Ему становилось всё интереснее и интереснее с этой женщиной.

— Вы знаете, — сказал в какой-то момент Мартин, — я должен вам признаться.

— В чём? — напряглась Илана.

— Это из-за меня вы чуть не попали под машину. Я купил у старьевщика будильник. А вы, должно быть, подумали, что это пропиликал разрешающий сигнал светофора.

— Пустяки! — махнула рукой Илана. — Вы тут ни при чём! Я сама давно хочу умереть и встретиться с Францем. Не казните себя понапрасну.

— Я никогда не казню себя! — признался Мартин. — А с чего вы взяли, что муж ждёт вас, а не завёл себе на том свете новую пассию?

— Этим подарком, — она нежно погладила чашку, — он будто говорит мне, что после смерти есть ещё жизнь. И он приглашает меня в эту жизнь, чтобы испытать ещё одну чашку на двоих.

— Может быть... — неловко развёл руками Мартин. — Вам, должно быть, виднее! Мне этого не дано знать. Я даже не знаю, где сейчас может быть ваш муж...

— Думаю, он сейчас на планете Марс! На красной планете... Туда улетают души всех умерших, — отрешённо ответила Илана.

Теперь Мартину казалось, что старушка слегка лишилась разума. Либо сегодня во время падения, либо сразу после смерти мужа.

— Кстати, вы знаете, что такое метроном? — спросила она, неожиданно переводя тему.

— Нет, только мой дядя знает, что это такое.

— А где сейчас ваш дядя?

— В краю вечнозелёных помидоров.

— О, кажется, я знаю, о чём вы говорите. Край вечнозелёных помидоров — это тот край, где живу я, потому что в этом краю мало солнца. И иногда, покупая овощи, я беру по ошибке зелёные помидоры... Но ужаснее другое. Память стирает всё! — с ужасом схватила Мартина за руку Илана. — Всё стирает! Я уже многое не помню!

— Это нормально, — взял Мартин руку Иланы. — Это нормально! Я тоже не помню дома своей родной деревни, я сам из Кукмора! Кукмор это населённый пункт в Татарстане и переводится его имя как «голубое небо» или «марев». Я часто лежу

и пытаюсь вспомнить, какого цвета чей-то забор, но не могу. И тогда я чувствую себя несозревшим томатом, не впитавшим в себя все краски лета.

— Это ужасно! Я боюсь, что однажды я забуду всё и наступит полная темнота.

— Не наступит, — ответил Мартин. — Луна забирает и отдаёт воспоминания. Воспоминания — как приливы и отливы.

— Да, я верю, я верю, — соглашалась Илана, но Мартину казалось, что они, как инопланетянин и землянин, говорят на разных языках. — Я верю — он ждёт меня на Марсе.

11.

Ушёл от Иланы Мартин поздно вечером. Сбежав по лестнице, он вспомнил, что собирался посмотреть на дом с внутренней стороны. Но было уже поздно. Ночь грязью легла на чашу двора. Тени были слишком глубоки, чтобы что-то разглядеть, несмотря на тусклую картофелину фонаря и блики-очистки. Разве только контуры беседки и очертания гигантского здания-сарая.

Где-то в глубине двора за решёткой и кустарником подростки с гитарой напевали *Led Zeppelin*. «Лестница в небеса». Их не было видно. Мартин стоял один на один с огромным миром. Луна, как монета, опущенная в чёрную бездну игрового автомата, будто вызывала эту музыку. Для каждого двора есть своя луна.

*Во времена, когда невозможно достать даже батон хлеба,
Она выходит, чтобы купить лестницу в небеса...*

Мартин задрал голову и увидел несколько горящих окон. Трудно было понять, чьи это окна так призывно светятся.

«Нет, не может быть, — подумал Мартин, сосчитав этаж. — Зачем Илане включать свет?!» И тут же поймал себя на мысли, что, возможно, это он забыл его выключить и теперь свет будет гореть всю ночь.

Лестница в небеса. Перед ним в открытой двери подъезда только мерцали ступеньки. Мартин собирался уже вернуться, но тут в окне за занавеской мелькнул силуэт.

— Смотрите, смотрите! Старуха опять взялась за своё! — зазубоскалили подростки с площадки. Перепрыгивая через кусты, они скопом приблизились к Мартину. Кажется, эти попивающие пиво и орущие песни отпрыски, по задумке архитектора, должны были постоянно оставаться под присмотром предков.

— Опа, стриптиз начинается! — хихикнула девушка. — Всё, как вы хотели, по вашим заявкам!

Мартин пригляделся и понял, что силуэт обнажён. Он очень напомнил ему рельеф на чашке — девушка принимает что-то из рук мальчика. Несмотря на возраст, хрупкое тело старушки напоминало девицье.

— Не обращайтесь внимания! — сказал Мартину один из подростков в рэперской шапочке, толстовке, шароварах и кроссовках. — Она просто больная извращенка! У неё крыша поехала!

— С чего вы взяли?! — покосился на паренька Мартин, обратив внимание на то, что у того шапка надета набекрень.

— Она почти каждую субботу нам тут устраивает такое!

— Мы специально собираемся, чтобы посмотреть, — признался парень, который стоял рядом.

— Такое впечатление, что она хочет кого-нибудь заманить! Только сегодня она не двигается, а застыла, как истукан!

— Забавно! — улыбнулся Мартин, глядя на старуху на фоне простыней. Он закрыл глаза и посмотрел на эту картину иначе. Посмотрел, будто на тени на Луне. Для кого она танцует? Всё ещё для Франца... Неужели она и правда верит, что он ждёт её там, на Марсе?

— Может, она умерла? — решил проявить остроумие другой подросток. — Давай уже, двигай бёдрами, эксгибиционистка!

— Успокойтесь, придурки, она танцует не для вас! — зло ответил Мартин и демонстративно пошёл прочь.

— А для кого? Для тебя? Сходи к ней, старик. Эй, ты ошибся подъездом! — кричали они ему в спину.

12.

Мартин засунул руки в карманы, поворачивая в арку. Ему некому было их протягивать.

После света окна арка показалась чересчур тёмной, как переход из одного мира в другой для ослепившего себя Эдипа.

Парни, вернувшись к гитарам и пиву, вновь заголосили *Led Zeppelin*. А Мартин, споткнувшись, потерял равновесие и растянулся на брусчатке, будто их обидные выкрики настигли и сбили его с ног.

Будильник вылетел из кармана пальто и поскакал по камням, рассыпаясь на винтики и шестерёнки. Протянув руку в мгновенно наступившей полной тишине, Мартин нащупал пластмассовый корпус будильника, напомнивший ему чашку с цыкутой. Вот они, плоды его неумелой, нелепой, неумной оригинальности, из-за неё, из-за мысли, что он особенный и проживёт жизнь по-особенному, Мартин, кажется, потерял всё — друзей, любовь, молодость, из-за неё он продолжал терять время и сейчас.

«Должно быть, оттого, что моё сердце слепо и мне приходится наугад тыкаться, разбивая коленки об углы», — держал Мартин чашу.

В это время там, в другом измерении, в подобной позе, с протянутой рукой, замерла и Илана.

«Где, когда это было?» — вдруг встрепенулся Мартин, вспомнив свой родной двор, и разбитую подростками лампочку, и как он в рубашке, прилипающей к телу, вышел в раскалённую за день ночь и наткнулся на девушку. Он тогда почти ничего не видел. Стояла темень, какая только бывает в краю вечнозелёных помидоров.

— Молодой человек, у вас огонька не найдётся? — спросила девушка.

Мартин не курил и не носил с собой зажигалок, о чём очень сильно в тот момент пожалел.

Из жалости он решил дать прикурить ярким словом. И они разговорились.

— Что ты здесь делаешь в такой час одна? — спросил Мартин.

— Вот вышла за хлебом! Но, кажется, слишком поздно.
Мартин улыбнулся, зная, что в темноте его лицо не видно.

— Ты видишь моё лицо? — спросила она.

— Нет.

— Ты плохо видишь?

— У меня космическая дальнзоркость, — признался Мартин.

— Плюс или минус? — спросила девушка.

— Плюс на минус. — Тут Мартин, желая соригинальничать, рассказал свою дежурную шуточную историю о том, что в абсолютно ясную погоду, когда нет ни одного облачка и туманностей, нет никаких помех, он видит так хорошо, что может рассмотреть, что творится на Марсе, может увидеть, есть там сегодня жизнь или уже нет. И зачем учёные тратят огромные деньги на космические исследования, когда можно было просто подойти к нему и спросить.

Девушка рассмеялась. Сигарета выпала из её рта. Они ползали по грязи в её поисках, но находили только руки друг друга. Затем они стали трогать лица и тела друг друга, гладить.

13.

«Где, когда это было?»

Они целовались, и Мартин ощущал горечь и запах дыма.

Он так и не увидел её лица, не знал или не запомнил её имени. Позже, когда Мартин встречался с другими девушками, ему казалось, что они все с изъёном. А та, первая в его жизни девушка, была абсолютно без единого изъёна. Она была идеалом, мечтой, совершенством — певучий нежный голос и мягкие прикосновения.

Говорят, первый сексуальный опыт очень важен. Поэтому теперь ему было важно, чтобы и другие девушки во время близости закрывали глаза. Момент искренности и чувственности. Близорукость плюс дальнзоркость. И он тоже закрывал глаза. А когда открывал их, ловил себя на мысли, что хочет поскорее забыть их лица. Не видеть их тел и глаз, а только ощущать прикосновения и чувствовать тот тлетворно-сладкий с дымом от торфяников и плавящегося асфальта запах жаркого лета. Запах

кожи с её порами и пигментами и волос с их бесконечными линиями и завихрениями.

Ощущение распада момента на тысячи микромоментов и интерпретаций. В конце концов, всё повторяется из раза в раз. Калейдоскоп лиц и тел рассыпется в прах, и наступит полная ночь, и нахлынет это чувство абсолютного сладкого забвения. Звать меня никто, сам я ничто.

— У тебя такие нежные пальцы, — сказала в ту первую ночь любви его первая безымянная девушка. — Я представляю сейчас на твоём месте гитариста Джимми Пейджа с двугрифной гитарой. Он всегда был моим кумиром.

— А я он и есть, — сказал тогда Мартин, потому что в момент любви каждый из нас является каждым.

Каждым, и вполне возможно, что в ту ночь вместе с ним была девушка по имени Илана. Потому что она могла оказаться тогда рядом с ним. И какая разница, чьи там силуэты наверху — на обратной стороне Луны и на внешней стороне белой чашки, которую небо приносит нам в постель. Были ли это Стефан и Мона, или Илана и Франц, или Роберт и Долорес, или другие пастух и пастушка. Какая разница?!

Здесь, распластавшись на брусчатке под аркой, словно в переходе между небом и землёй, словно в тёмной могиле, Мартин вдруг понял, что и правда обрёл космическую дальность. И увидел наконец пляшущие на планете Марс тени. Увидел благодаря слепой женщине, как они танцевали там, взявшись за руки, — Илана и Франц. А до этого момента он ровным счётом ничего не видел и не знал.

Его сердце было слепое, оно тыкалось во все двери, расшибаясь об углы и косяки, его сердце было разбитой чашкой, рассыпавшимся будильником, метрономом для задания ритма в музыке сфер. **¶**



Александр Крамер

Фрагменты немецкой жизни

1.

В голове иногда сохраняются странные какие-то, причудливые картинки. Событие мимолётное, сиюминутное, ни о чём совершенно — засядет вдруг в памяти, да так прочно, как если бы это было зачем-нибудь необходимо. Мне хочется поделиться с вами одной из таких картинок, чтобы, раз уж она угнездилась намертво, хоть так оправдать её присутствие в голове.

С утра было жарко, безветренно, на небе ни облачка, необычно даже для здешнего позднесеннего времени; и, казалось, ошиблись метеорологи, обещавшие на сегодня «временами шквалистый ветер и ливень»; прогноз этот выглядел полностью неправдоподобно. Увы, на немецком севере резкая смена погоды — не редкость, и я привык доверять таким нелогичным прогнозам: слишком часто оправдываются; да и все доверяют, и если сказано: «Ливень», — без зонта из дома никто не выходит.

Мне нужно было к родителям, на другой конец города, без малого час целый ехать. Я сел в автобус, полупустой в субботнее утро, и принялся от нечего делать разглядывать пассажиров. Впереди, немного наискосок, возле прохода сидел старик с массивной, совершенно не соответствующей тщедушному телосложению головой. В автобусе было жарко, и старик специально сел поближе к проходу, так, чтобы воздух из открытого люка освежал хоть немного; теперь, опершись на внушительный ярко-красный зонт-трость, опустив подбородок на руки, духотой разморённый, он спокойно дремал.

Мы успели проехать всего минут двадцать, когда внезапно всё вокруг потемнело, налетел ветер, а вскорости и дождь хлынул. Да какой! Через мгновение струи воды уже текли по дорогам рекой, низвергались водопадами из водостоков, заливали стёкла машин так, что дворники еле справлялись...

Через открытый люк ветер задувал струи неистового дождя и в салон. Старик сидел слишком близко к люку, и россыпь капель летела на него веером; от этого он проснулся, поглядел наверх, абсолютно спокойно открыл огромный свой яркий зонт и продолжал — как ни в чём не бывало — сидеть на выбранном месте, глядя в окно на творящееся безобразие.

Люди на остановках входили и выходили, и никого нисколько не волновало, что, для того, чтобы пройти, нужно непременно попросить старика убрать зонт. «Пожалуйста, — говорили ему с улыбкой, — разрешите пройти». — «Пожалуйста, — отвечал старик, — будьте любезны», — наклонял торжественно к окну купол зонта и улыбался в ответ.

Ливень бесился недолго, а когда я подъезжал к своей остановке, почти прекратился, и показался уже вдалеке кусочек синего неба. А хорошее настроение косохлёт никому не испортил.

2.

Немцы учёбу, которая меньше года длится, за учёбу вообще не считают. А без свидетельства о специальном образовании даже улицу убирать не доверят, не говоря уж о большем. Чтобы городской автобус водить, три года учиться нужно.

Так получилось, что в компьютерной школе, где я год целый конструкторские программы штудировал, рождественские каникулы совпадали с окончанием курса. После праздников оставались только экзамены — и всё; и решили две эти даты совместить (немного досрочно) и пышно отметить, потому как три группы, по шесть-восемь человек в каждой, — механиков, архитекторов и дизайнеров — не совсем одновременно заканчивали, и другого такого случая — всем вместе собраться — больше не выпадало. А компания славная подобралась, все друг друга, как могли, поддерживали, разъясняли, показывали, группами, чтоб бензин лишний не тратить, в школу ездили, документы составлять помогали... Я один там был иностранец, так меня человек пять опекали, потому что компьютер совсем в то время не знал, а язык понимал ещё очень и очень плохо, не говоря уже о терминологии — технической и компьютерной. Чудесный народ подобрался, честное слово.

А за праздничный стол садились мы всегда вместе — студенты и преподаватели, ведь разницы в возрасте и образовании между нами почти не существовало, да и обстановка в школе была домашняя, добрая.

Ну вот, составили списки, кому что купить, и двадцать девятого декабря, пустив все занятия побоку, с утра самого стали украшать свои классы и на стол накрывать, чтоб в десять часов, когда по всей Германии наступает перерыв на завтрак, за стол можно было сесть и в компании тёплой год грядущий отпраздновать.

Обычно на столе у нас было всё магазинное, а тут, только мы за стол приземлились, входит Бернд Гродтке (он у нас *Excel* и *Access*¹ преподавал) и вносит на блюде огромный роскошный домашний торт. Но только мои однокурсники на торт никак почти не отреагировали, будто так и надо, будто им торты ежедневно пекут. Мало того, все знали, что Берндт не женат и живёт со старенькой мамой и, значит, это не просто торт, а мамин...

Публика с удовольствием ела всё покупное, а мамин торт лишь несколько человек попробовали. Так он почти весь на столе и остался, и Бернд его с грустной миной обратно в машину унёс.

В общем, странная это история, но поскольку я подобное ещё несколько раз потом видел, то понимаю, что есть в ней нечто закономерное. А вы понимайте как знаете.

3.

Пришло и для нас в Германии время купить первый в жизни автомобиль. Мы с женой долго бродили по многочисленным автосалонам и автоплощадкам, примериваясь и прицениваясь, выбирая форму и цвет, мощность и возраст... Это было что-то вроде игры, развлечения, имевшего совершенно особенный привкус причастности к этому миру, и мы его, развлечение, длили и длили, не спеша превращать в реальность чудесное удовольствие; исполнившаяся мечта не обладает такими многочисленными оттенками.

¹ Компьютерные программы

Наконец, на окраине города увидели в крошечном автосалоне ярко-красный «Фольксваген», который обоим мгновенно понравился и одновременно подходил по всем характеристикам и параметрам. Вот только цена была несколько высоковата, и, хоть и понятно было уже: напали то, что нужно, жена предложила сначала зайти в салон и немного поторговаться.

Хозяин, среднего возраста немец огромного роста, бегал вокруг машины, открывая её и закрывая, показывая и объясняя, расхваливая и уговаривая... Моя жена пустила в ход все свои женские чары, и хозяин — нормальный мужик — через короткое время, что и требовалось, «поплыл». Результатом «заплыва» стала приличная скидка, после чего мы пошли подписывать договор. Впрочем, пошли не мы, а жена, потому что хозяин меня игнорировал и разговаривал обо всём исключительно с ней, будто бы я внезапно испарился из магазина.

Через несколько дней, оформив страховку (без неё вам машину не отдадут из салона) и получив номера, я, в условленный день и час, приехал забирать свой замечательный автомобиль. Герберт, хозяина звали Герберт, тут же вышел навстречу, сияя и восклицая непрерывно: «Как я рад! Как я рад!» Потом, заметив, что я один, он как-то странно посмотрел на меня и вдруг спрашивает: «А где же ваша жена? Почему вы её не позвали? Она возле машины?» — «Да нет, — говорю, — она на работе, у неё сегодня вторая смена».

Герберт внезапно ужасно расстроился, просто ужасно, мне даже неловко стало, будто я совершил какой-то проступок. «Ну ладно, идёте, — сказал Герберт, потускнев совершенно, — машина готова, вот ваши ключи, документы... Только, пожалуйста, зайдите ко мне в кабинет, всего на одну минуту». — «Конечно, — согласился я, — конечно, идёте».

В маленьком кабинетике, где Герберт занимал почти всё оставшееся от письменного стола и книжного шкафа пространство, он поднял руку и снял со шкафа... Только теперь стало понятно, почему он так сильно расстроился: он снял со шкафа роскошный, просто изумительный букет белых роз:

— Это вашей очаровательной жене. Обязательно передайте ей от меня привет. Обязательно. Счастливого вам пути.

4.

Они приехали из глухой казахстанской деревни — муж с женой и мальчик с синдромом Дауна. Муж в совхозе трактористом работал, а жена бухгалтером там же; и когда у них такой необычный, с азиатским разрезом глаз, ребёнок родился, решил тракторист почему-то, что жена с председателем совхоза — казахом — ему изменила, со всеми вытекающими из этого для жены последствиями.

Доказательств неверности женой не было, разумеется, никаких, но так мужика нелепое предположение проняло, что уже ничьи доводы на беднягу не действовали. Даже когда местный фельдшер ему объяснил, что ребёнок родился у них, к сожалению, больной, неполноценный, и болезнь эта лечению сегодня не поддаётся, что в нормальную школу ходить никогда не будет, что долго с болезнью такой не живут и разрез глаз у ребёнка — тоже от этой болезни, из-за чего она раньше «монголизм» называлась, даже тогда ревнивец-тракторист не поверил, решил, что председатель с фельдшером сговорились и хотят вокрут пальца его обвести. Но кое-что важное для себя он из беседы с медиком вынес: в школу ходить не надо, жить долго не будет. На основании этих сведений и принял решение дикое, невероятное просто: непонятно чьего ребёнка (кому охота, чтоб в деревне над тобой насмехались) из дома больше не выпускать, в дом посторонних тоже не пускать никого, ничему пацана не учить, ждать, когда очочурится. Точка.

Когда эта семья эмигрировала из Казахстана в Германию, мальчик с синдромом Дауна совсем большой уже был — лет четырнадцати-пятнадцати. Разговаривать он не умел, мычал только. Ел руками. Вместо зубов изо рта чёрные пеньки торчали. На улице у него начиналась истерика, и он только в каком-нибудь замкнутом, не слишком освещённом пространстве успокаивался. На незнакомых людей, точно зверь, набрасывался, мог покусать, исцарапать. При виде машин впадал в ярость неопишемую. В общем, был кем-то вроде Маугли, превратившегося в зверёныша среди человеческих особей.

В Германии не учить ребёнка в школе запрещено. Даже если ребёнок неполноценный. Даже если неполноценный, сле-

пой и полностью парализованный. Нет никаких исключений! Во-первых, если ребёнок не пойдёт в школу, вы не будете получать от государства пособие — «детские деньги», а во-вторых, вас накажут, согласно гражданскому законодательству.

Поэтому, после приезда, дикий подросток попал, наконец, в специальное учебное заведение. Каждый день за ним домой приезжал микроавтобус и забирал его в школу, а вечером привозил обратно. Дело это было не простое и даже опасное. Пока его заводили, как быка упирающегося, брыкающегося и ревущего, в автобус и там ремнями безопасности к креслу пристёгивали, семь потов сходило с шофёра и помощника, много чего повидавших и умевших. К непростой этой операции хотели даже привлечь родного отца. Его, безработного, в штат обещали зачислить и зарплату платить, да он отказался.

С тех пор, как я об истории этой узнал, три года прошло, и событие среди прочих в памяти затерялось. А недавно гуляли мы в парке, который находится на территории заведения для душевнобольных и одновременно городу принадлежит, и встретили сильно повзрослевшего, растолстевшего больше прежнего переселенца с синдромом Дауна — его нетрудно узнать было по длинному тонкому шраму на правой щеке. Он катил важно на взрослом трёхколёсном велосипеде с толстой сумкой через плечо; я окликнул его, поздоровался. Он остановился, ослабил в фарфоровой улыбке и произнёс важно и вполне членораздельно: «Их бин Зергей. Их арбайте хир»², — и покати́л себе дальше.

К слову сказать, люди с синдромом Дауна до семидесяти лет теперь запросто доживают.

5.

У них были такие разные лица, характеры, судьбы... А потом их, шесть миллионов, превратили в одинаковый дым и пепел, развеяли по ветру, смешали с землёю... Даже праху их некуда прийти поклониться.

Его зовут Гюнтер Демних. Герр Демних отливает плитки из бронзы, гравировывает на них имена тех, кто стал дымом и пеп-

² Меня зовут Сергей. Я работаю здесь (здесь и далее нем.)

лом, и вмуровывает плитки в асфальт узких, сходящих к воде улочек старого города, где они жили когда-то.

Сейчас этих скорбных памятных знаков уже почти двести, и я много раз видел, как их, даже в толпе, осторожно обходят, и стараются не наступить.

6.

Гольфстрим проходит здесь совсем рядом. Оттого в местах наших всегда очень влажно, зим настоящих, морозных никогда не бывает; минус пять по Цельсию — почти что предел, но зато и лето часто холодное и сырое, ведь до родины Андерсена — чуть больше ста километров.

Когда зимним утром на улице минус и влажность процентов семьдесят, а то и все восемьдесят, — караул просто, особенно если ночью ещё и дождик прошёл, тогда всё вокруг покрывается толстой, прочной ледяной коркой, в том числе и машины.

Об этих природных фокусах нужно знать и заранее к ним готовиться. Я, разумеется, видел, как граждане по утрам стёкла машин скребками дерут и бутылки со всякими жидкостями и аэрозолями на капот выставляют, но как-то значения особого этому не придавал. О, мне многому пришлось научиться в свою первую автомобильную зиму!

Зима началась только, когда в одну из ночей, при минусовой температуре, долго шёл дождь; с неба просто тёк жидкий лёд, и наутро моя машина покрылась толстой, крепчайшей ледяною бронёю. Чтоб до замка добраться, да к тому же открыть, — и думать нечего было. Побегал я в полной растерянности вокруг ледяного чуда и вдруг обнаружил, что над замком багажника есть крошечный козырёк, который... В общем, багажник мой, после некоторой маеты, взял да открылся; обрадованный — несказанно, забрался через багажник — с помощью акробатических трюков — на место водителя и помчался скорей в мастерскую, благо маленькая мастерская находится недалеко совсем от нашего дома.

В мастерской одна стена полностью стеклянная, и можно сквозь стену видеть, как люди работают. Как я задним ходом из

багажника вылезал, тоже хорошо видно было: работяги дела свои побросали, у стенки собрались, и им, в отличие от меня, очень весело было.

Не успело моё акробатическое представление закончиться, выходит ко мне толстый мастер с седоватой шкиперской бородинцей и говорит, улыбаясь:

— Вам повезло с комплекцией, интересно, что б я делать стал. Ладно, давайте ваш автомобиль, минут через двадцать всё будет в порядке.

И правда, через короткое время вывели мою машину — тёплую и сухую.

— Сколько я должен? — спрашиваю у мастера.

— Да ничего, — смеётся, — горячий воздух денег не стоит. Мне приятно вам было помочь. Езжайте. Осторожно только. Счастливого вам пути.

Чёрт его знает, а только у меня весь день замечательное настроение было. Хотя, собственно, что особенного?

7.

В общежитии изредка собирались мы небольшими компаниями — человек по шесть-семь — поужинать, поболтать, выпить по капельке. За спиной у всех был недавний совсем переезд: невероятная нервотрёпка, бесконечные унижения, горькие расставания... Нам хотелось от всей этой переездной дряни как-то освободиться, расслабиться... Вот мы от стрессов недавнего времени посиделками этими пустопорожними и избавлялись.

Так мы однажды сидели, кутили, в сотый раз делились друг с другом приснопамятными впечатлениями... И вдруг Леночка — симпатичная маленькая толстушка среднего возраста — и говорит: «Ребята, мы что, здесь все и... умрём?»

У меня кусок в горле застрял... Смотрю, а все тоже притихли, друг на друга оглядываются. Секунды всего и висела напряжённость печальная в воздухе, а потом в шутку как-то всё обратили, растормошились, забалагурили — и кутёж дальше пошёл. А во мне вопрос этот почему-то с тех пор засел и всплывает время от времени:

«Ребята, мы что, здесь все и... умрём?»

8.

Мне почему-то кажется, что общие недостатки сближают людей гораздо легче, чем их достоинства. Найдя в ком-либо кучу не присущих мне достоинств, я начинаю комплексовать и растерянно озираться. Я чувствую себя так, как должен себя, наверное, чувствовать дистрофик в компании борцов сумо.

Задолго ещё до приезда в Германию я был уже наслышан о врождённой немецкой пунктуальности, напуган необычайной немецкой аккуратностью и педантичностью, а знаменитыми немецкими дорогами бредили все знакомые автомобилисты. «Никогда, — думалось, — никогда не удастся стать естественной частью этого отточенного мира». Поэтому, когда на третий день по приезду автобус опоздал на 10 минут, я гордо поднял голову и подумал, что всё ещё, может быть, не так плохо. А когда увидел, как местные жители бросают окурки не в урну, а прямо на тротуар, понял, что всё ещё даже может быть хорошо.

Я, конечно, скучаю. И, как водится, недостатки прошлой жизни помню лучше достоинств. Наверное, для того и оставлен кусок исконной ухабистой русской дороги на самом подъезде к нашему дому почти на окраине города. Вечером, поздно, когда не видать уже из окна опрятных немецких домишек, я закрываю глаза, откидываюсь на спинку сиденья... Моё тело трясёт, немецкий автобус гроыхает по кочкам, и кажется, что я — дома! И душа — отдыхает...

А недавно я ждал жену возле выхода из универсама и вдруг обнаружил дыру у себя на штанине. Бог весть, откуда взялась! Я присел на корточки и стал её пристально разглядывать.

— *Was ist?*³ — раздалось неожиданно рядом, и худой темноглазый старик навис надо мною.

— *Hier ist ein Loch*⁴, — заявил я печально, подняв к нему голову.

— *Das ist ja toll!*⁵ — расцвёл вдруг в щербатой улыбке старик, и, салютуя оттопыренным большим пальцем, нетвёрдо ступая, отправился прочь. **¶**

³ Что случилось?

⁴ Здесь дырка.

⁵ Это же классно!

«Запад наперёд», поэтическая группа

Дмитрий Драгилёв

Лично я всегда был готов откладывать Запад на потом. Но жизнь решала иначе. А литература — вещь зыбкая, мерцающая. Объяснять что-либо — удел злостных филологов, злоили славословящих критиков (взломщиков, жалобщиков, филмиамщиков), приятелей (предателей?) отъявленных и просто-душных, ангажированных участников дискурса и иже с ними. Да и вообще, забота эта долгая, нудная и, зачастую, не очень нужная. Особенно в двадцать первую эпоху оперативных торжищ и опереточных торжеств, поточных гениев, суперпочётных грамот, жести и супони насупленных кураторов, субтильных мажоров, форсирующих маршруты из А, Б и других точек (букв?) в поте лица, посконных грамотеев и повышенного комфорта. Чего мы хотели? Надеялись провозгласить какую-нибудь бузину, или, в худшем случае, свободу от мнений, хотя кто в наше междусобойно-междугороднее время свободен от них? Ещё Пушкин, ласково обобщая, писал о характерных для большинства «нелюбопытстве и лени». Коллеги, как правило, очень уверены в себе, по сторонам не смотрят. Читатели руководствуются парафразом Уайльдовской максимы: «Если об этом не говорят, то этого не существует». Сеть как степь — стерпит всё почище бумаги и любой администратор сам-с-усам. Бесполезно наблюдать за секвенциями ступы Бабы-Яги, совершающей непилотируемые полёты над лесами Тюрингии и Бранденбурга. Бабы-Яги, уже не знающей, куда развернуть избушку своего КПП. Избушка чувствует, что сама скоро пойдёт на растопку, причём вовсе не по причине писчебумажного взрыва, а в силу всеобщего фэйсбучащегося самодовольства и прочего кибернетического терроризма. Ступа старой карги наматывает круги. Помашем ступе рукой.

«Запад наперёд» — это, конечно, прежде всего — изнанка, «обратная (оборотная) сторона», или просто реверс, в иллюзию которого должна впасть (как минимум, по Сергею Соловьёву)

ускорившаяся до предела метафора. *Every cloud must have a silver lining*, «есть у тучки светлая изнанка» — поётся в старом свинговом фокстроте, название которого Василий Аксёнов избрал для своих поисков. Будем считать, что мы как раз находимся в поисках светлой, серебристой изнанки. Изнанки хотя бы для тех чудаков, которые, будучи выходцами с (из) более или менее тонкого европейского Востока, продолжают и в Абендланде что-то там кропать на родном своём наречии, вопреки намёкам и месседам Запада о желательности перехода на язык страны пребывания, вопреки напоминаниям некоторых друзей, что русская литература делается только в Москве, вопреки утверждениям, что все лучшие (нужные) стихи уже написаны, служа только трём китам, на которых для нас зиждется поэзия: метафоре, синтаксису и звуку.

Прокрастинатор

повод выйти за спичками: труба и кларнет пылятся в ломбарде
ещё зубы туда положи, пока пристав — местный герой — не засёк
этот сусек
к посторонним не приставай, но, если приспичит, произнеси пароль:
«гекуба интересуется делами тибальда»
проверишь, какой отзыв подберёт для тебя замечательный твой сосед
сарабанда — не только «шайка сардин или сар», но и некое подобие
контрафакта
в эпоху полного примитива, когда шахматный конь шарахается от
канонады
знатных попсовиков;
как говорил Эдди Рознер, по кличке «царь»,
доведённый бюрократами до инфаркта,
здесь вам не школа-студия МХАТ, здесь работать надо
допустимый предел тесноты уточняет себя, делаем перевод
исключая женские сплетни и пересуды
ведь любое торжественно празднуемое родство
образуют чужие, но сообщающиеся сосуды

постучи по железу — должно быть желе
 как рядил один мистер, знакомясь с ребристой
 (серебристой изнанкой и мягкой пушистой)
 абсолютной начинкой, и шелестом знаний
 в лабиринтах ушных, тупиках и каналах
 незаметной сопелки (играет Евстахий)
 шепчут наночастицы: есть час пожалуй
 и внematочный хор, и дурных бандуристов
 разоде́тых в обноски от *Bruno Banani*
 здесь оттенки от чёрных и белых до алых
 ты, дружок, не части, если сразу не вставит

ледоходы опасны опорам тысячу раз латаного моста
 на быка не садись кирпичом; ледостав никому не проходит даром
 и садизм ни при чём, но, как опыт подсказывает, есть такие места
 которые становятся чересчур сладкими от ударов

полный болт, сколько вёрст отмахал, позабыв пресловутый гак
 которому не прикажешь, да и мурка твоя — очаровательная мура
 вящий штиль по округе, болтает лишь суп в сапогах
но его не вырубить даже кашей, сваренной из священного
топора

imitatio veterum et gangni

О, позабуди бывлые увлечения
Т. Котляревская

Мне не хватило выходного
 по сути — просто пустяка
 когда твоих улыбок много
 когда они уже сверка-

ютятся на хвалёной крыше
 блестят как деньги — медный рупь
 и из трубы победно слышен
 ОркестрЪ «Пасадена Руф»

играет в новус глупый карлсон
 голодный плавает планктон
 за бред поставленный на карту
 банкует спорно сын Антон

по телеку — ночное порно
 спят сторожихи в деревнях
 а я романсово-упорно
 твержу: о не забудь меня

* * *

играй, Адель, не знай печали

А. С. Пушкин

...auf uns nimmt im Grunde kaum einer Rücksicht¹

Beate Zieris

Вот и твоя улица празднует, Адельхайд
 Декабрь — месяц смены помещика
 Спит крепче с морозами, не мажор, свеч не жги, отдыхай
 Брось овечек в уме считать

В декабре наступает очередь Адельхайд
 Почерк раньше испортился, не говорю про характер
 Наступает на пятки, настаёт из затёртых теорий, забытых
 практик

В «Младшей Эдде» себя не находит скальд

Ёлки нет, кустуряка лежит посреди двора
 Безопасна, но, кажется, несъедобна.
 Можно ритмы южные, грязные выбирать
 От танго до пасодобля

Для плезира — подробности, разговоры о сексе,
 устаревшее слово «наперекор»
 Подросток занят компьютером и поисками съестного
 По коже атласной дробящийся секстаккорд
 Безударной гласной кажется снова

¹ Нас, по сути, почти никто не принимает во внимание (нем.)

Илья Рывкин

Запад наперёд — фаустовское заклинание, прочтённое наоборот. Если дух Запада — иллюзия тотальности и непрерывности рационального, непротиворечивого описания мира, дающего контроль над ним, то мы заглянули на изнанку словесной ткани. Там то же самое, но скрытое наружу. Это не «евразийство», не антизападничество, но более Запад, чем сам Запад, перспектива из холодных вод Атлантики. Фантазм о существовании «Запада» устремляется вслед за солнцем за океан, оставляя развалины.

*Европа, Европа, как медленно в трауре юном
Огромные флаги твои развеваются в воздухе лунном.
Безногие люди, смеясь, говорят про войну,
А в парке учёный готовит снаряд на луну,* — писал Борис

Поплавский.

Серёжа Штурц, европеец из этого стиха, денди в идеальном костюме, аскетически отвергает соблазны современной словесности: бросить глагол на потребу публике или почти обслуживать машинерию социального. Он — хранитель семантического Грааля, и поэтика его герметична.

Митя Драгилёв, сгорбившийся над роялем, как большая певчая птица. Клавиши поют о расставании и мечте. Берите билеты на его паровозик, ходящий по метареалистической реке говорения! Имена склоняются по берегам, фактически образующим рельеф реки, как прожитое — морщинки в углах глаз. Метареализм вместо материализма, творение реальности вместо рабского описания того, чем, по мнению ваших школьных учителей, она является. Сталин говорит: «Если бы обезьяна не стала на задние ноги, то потомок её — человек — был бы вынужден всегда ходить на четвереньках, смотреть вниз и оттуда черпать свои впечатления; он не имел бы возможности смотреть вверх и вокруг себя и, следовательно, поймел бы возможности доставить своему мозгу больше впечатлений, чем их имеет четвероногое животное».

*Ну, а если Европа, то пусть она будет,
Как озябшая лужа, грязна и мелка,
Пусть на корточках грустный мальчишка закрутит
Свой бумажный кораблик с крылом мотылька.*

Что обо мне, то речь моя поверхностна, одномерна, она мутирует, обгоняя болезненные изменения биотопа, вживляет в собственную ткань протезы чужеродных практик. Фактически это актуальное искусство методом письма. Язык — оборотень.

авгур

предсказатель вскрывает собственную грудную
клетку реберно-хрящевой нож в кулаке
подобен намеченной линии движения орла
с запада на восток

удивительно как могут два авгура не
засмеяться глядя друг другу в глаза
северово ребро грудные фасции города
опрокинутого в лужу сукровицы и хохот нимф

без усилия поворачивает лезвие
внутрь к срединной линии потом к голове
пространство груди раскрыто
что та астра в берлине двадцатых

предсказатель вынимает своё сердце
его освещают негреющие лучи
варвары снимают стан и уходят
дымят алтари господи пана

савченко

женщина пгтурмует небо жажда
заставляет птицу лететь непрерывно
не коснувшись воды столько
сколько тебе прожить без питья

светило проводит навигацию голубой радужки
исчисляет перемещение военнопленной на основании
показателей магнитного поля земли
запаха керосина мазута

геометрия твоего крыла изменяемой стреловидности
не соотносится с ландшафтами
разница в диапазоне скоростей между зайцем
и падающим на него соколом

депутат парламента птиц
феникс рождённая из рабочего тела
воздушно-реактивного двигателя
оглядываешься на входе в камеру сгорания
аппарата устремлённого в солнце

но слово тяжелее воздуха и сила
перпендикулярная вектору скорости — чернота соединяющая
зёрна кварца перегной и есть
единица ангельского лётного состава

следит за исправной работой твоего сердца
смотрит карту местности разбитую на квадраты
готовится к нанесению по пунктам противника
бомбового удара

Серж Протопопов

У Рынка Жандармов две поющие головы.
одна по-немецки, другая по неподтвержд.
данным каковы
предоставил штандартен-оберюнкер Протопопов Серж
Объяснялась в любви Христу на языке
Маргариты Валуа. Псалмам в пандан
звенели хоралы — Бах в напудренном парике —
пока советский снаряд не попал в орган.
Мраморные титаны поддерживают архитрав.
Серж целится и стреляет по прямой
в безбожные небеса. Лихо берет заломав
Защищает город любимый мой.

Сергей Штурц

Если в человеке наличествует автор, его судьба решается в споре двух институтов: права и бесправия. С одной стороны, существует некая определённая, маркирующая ареал компромиссного созидания, с другой — всё равно (но негладко). «Граждане как таковые», пребывающие в рассаднике немых, эталонных принципов, пользующие язык, как элементарное средство коммуникации — обречены на медленное, демократическое исчезновение за горизонтом брокгаузовской повседневности.

Наш модус — финтообразное следование в траверсе самого языка, апробирование его различных агрегатных состояний. Собственно говоря, принуждение к семантическому катаклизму его сумбурных компонентов, необходимость произносить с каждым знаком препинания «Аз есмь» — и есть то филологическое кредо, которое было заложено в треуголке группы «Запад наперёд», её некогда упругих рёбрах и драгсечении.

Однако критическое количество условностей и исключительность мер, с которыми каждый из нас попытался совладать на пути к приобретению частного в целом, превратили фигуру речи в казусное напоминание «три-о».

Мультипликация типшины, воцарившаяся в нашем союзе, итожит коллегиальную попытку найти свой стиль письма.

* * *

По звонку рекомендациям понтонным мостам твоим
 лопаткам
 долгострой весенних однополчан ряды редуют
 фронтоны блещут едва ли тайным знанием огнеупорным
 камнем миропорядком
 гегемония нужд вопит при заламывании сирени

спутник выйдет в тираж на одну остановку раньше
 спутница в небо таращит тушью вооружённый глаз
 бушлаты прижмутся по чахлым рукам разольётся счастье
 (чужие себя ведут по-другому особенно если они в гостях)

в общем и целом — скот ты альянс был прежде
 трубный дымок ментола роза ветров прости
 шесть падежей в моём языке и только одна надежда
 на то что судачить на нём не будут на более нету сил

* * *

вычурных строк трафарет — не я
 беспризорный промах уймы учителей
 ноги омыл им ногти остриг зачал дитя
 в быт как в солнечное сплетение
 кубарем катятся январь
 домотканой речи пустой узор
 узы братства — сестёр узлы
 змеевидный шорох бросок в неон
 не подступишься особь та
 на позорном столбе которого
 развивается флаг и шрам
 поперёк горловины города

* * *

прорва фейков факирных колодцы раздора
 свёгла оптики явочных миру Мадонн
 то ли град опустел то ли нынешний город
 будет нем или star или молод ещё

чтобы агнец в мороке и пене гибридной
 свои бронхи берёг под английским сукном
 некурящий — курю я с восторгом элиты
 не поющий — пою за питейным углом

пока всё про меня — это пицца триады
 наконецник в пути шелестящих помех
 этот тон интервью и поленья тетрадей
 был бы перст указующий в небо воздет

* * *

ноль эмоций аве ноль достоинства
слух в себе почти не содержащая
армия раззявленного глобуса
потирает руки изваяниям

лавром веет смехачи в запое
в сокровенной парашютной ткани
ты минуешь и землетрясению вровень
Рихтер тих пропащ и музыкален

как ещё не опостылев в корень
зрить объезда и подставной обузой
волочить расквашенные губы
на манер того или другого

* * *

во тьме иных люстрированным с миром
ужиться напроць претерпеть закон
плыть баттерфляем в сад Семирамиды
спустить все деньги закатать зрачков
ручных подлиз гремячею посуду
из-под полы как мясо черепах
не доставать и трудность перевода
за милу душу поубавит шаг

Даша Эдлер

Последний полёт

В тот раз я почему-то села в самый угол, хотя обычно пытаюсь выбить место у прохода. Но тут всё вышло даже удачнее, чем я думала: у иллюминатора проще прятать слёзы. Достаточно отвернуться. На ужин дали какую-то испражняющуюся пресным дымом кашу под плёнкой, а я-то обычно обожаю эту бесполезную еду, мне она кажется началом чудесного путешествия. Началом неизвестных, полных приключений земель, морей. Спёртый самолётный воздух и этот бестолковый пар. В этот раз я на эту еду даже смотреть не стала. Хотела отдать девочке, сидящей рядом, только у неё началась рвота.

В какой-то момент самолёт гудел очень тихо, и я даже смогла уснуть. Я медленно проваливалась в кипучую пену, но мои волосы почему-то оставались снаружи, и бедной голове приходилось тянуться и растягиваться ввысь и вбок. Я всё боялась, что волосы тоже потонут вместе со мной, а ведь они должны оставаться снаружи, так, чтобы ещё хоть одна зацепка оставалась, чтоб не полностью меня поглотили. Уже и обесцвеченные корни показались, и хвосты мои с бантами, как у первоклассницы, и вся надежда оставалась на концы, мои бедные рассечённые концы, которые я никак не подстригу (а теперь вот обрадовалась, что не успела подстричь). И тут я, конечно, проснулась, не досмотрела.

Моя соседка уже пришла в себя и даже не воняла, но я всё равно не могла на нее смотреть. На неё и её полнокровную родительницу. Некоторым людям даны такие простые радости как неозабоченность о близких, свобода передвижений, а мне вот нет. Я лечу хоронить свою маму.

Впрочем, мне надо было начать с другого места. С того, как мы в темноте нашей с Мартиной спальни смотрели фильм «Рататуй», о мышке, которая вдруг стала шеф-поваром, и все обстоятельства в мире сыграли ей на руку. Фильм начался в пол-

одиннадцатого и закончился за полночь, и все эти сто пять минут я думала, а не опоздаю ли я. Как жаль, что невозможно вернуться на день назад и сесть на предыдущий самолёт. Утром Мартина тревожно обняла меня и сказала, что, вероятно, всё лучше, чем я думаю.

Это оказалось не так, и это я поняла довольно скоро, уже на пересадочной станции *S-Bahn*, когда рядом со мной на лавочку приземлился отдыхать аккордеонист. Он не попросил у меня денег, не побренчал стаканчиком с монетками мне перед носом, не подмигнул хитровато. Он просто сел и протяжно выдохнул, и тут я поняла, что капец настал. Уличные музыканты обычно не позволяют никому видеть, как им тяжело.

Ну а с чего бы ему не настать? Уже неделю папа вызванивал меня и подавал скрытые сигналы, что конец мамы близок. Да чёрт тебя дерни, почему бы тебе просто не сказать: «Приезжай, детка, всё настолько хреново, что я уже потерял голову». Вместо этого он по семнадцать раз за двухминутный разговор спрашивал, как поживает наш молодой котёнок и не вернулась ли Мартина из командировки. Отвлекающие манёвры, твою мать. А на фоне стонала от боли мама.

В конце концов, Мартина вернулась и купила мне билет. Мы сидели на кухне, и папа только что мне сказал в трубку, что маме отключили мозг, чтобы экономить её силы. Никаких эмоций, только сухая врачебная статистика. Я ещё на какой-то момент зависла, всё смотрела на простенок между стиральной машиной и окном. А Мартина, золотко, улучила момент и скормила мне полчашки бульона. Будто это я болею, будто это меня тут надо спасать.

Ну что, а самолётный обед я так и проглотила в итоге, не глядя. А на пересадке ещё и купила зачем-то вчерашнюю картошку фри и даже уже не плакала: рот был занят.

Я всё думала, каким меня папа будет встречать. Накануне, перед вылетом, я всё-таки дозвонилась до него. А он мне: «Всё плохо, детка». Помолчал. «Ладно, приедешь — сама увидишь». И я чуть не осела в таком горе, хорошо, что вокруг очередь была, пришлось держаться. Значит ли это, что она умерла, ведь такая вокруг тишина стоит, уже никто не стонет. Но почему он тогда не пьян? Значит, ещё жива, ещё надо держать вахту.

И как он меня встретит? Будет сидеть с поникшей головой, держась за колени, совсем поседевший? Или, если всё не так плохо, даже захватит мне перекусить, и плед — накрыть колени под кондиционером в машине. И мы сразу помчим домой? Или будет уже некуда торопиться? А как она там лежит? Мне же дадут с ней попрощаться? Потрогать её волосы, подержать за руку?

Со всей своей буйной фантазией я и подумать не могла, что встречать меня, может, будет и не папа. И когда разошлись створки аэропортовых шлюзов, я поняла, что всё кончено: меня встречал троюродный брат и дядя, жившие в далёком Питере. И я не осела на пол, не заревела, не вскинула брови, а подошла и по-деловому, замкнуто, обнялась и потащила свой чемодан.

И даже здесь я пыталась быть пафосной, вычурной. Написала Мартине смс: «Зажги свечи, мама видит сейчас волшебные сны». А код перед номером не вставила, и смсочка так и не отправилась. Потом пришлось ломано и спешно что-то говорить в трубку. Когда уже не хотелось ничего.

Когда я зашла в квартиру. Когда рухнули все мои последние надежды — занавешены зеркала, значит в доме покойник. Мертвец, труп. Папа вышел из кухни с поникшей головой, я его обняла, почему-то сказала: «Всё нормально», хотя кто кого должен утешать. А он всё мотал головой, как повешенный: «Нет, ненормально, ненормально».

Дверь в залу была закрыта, и я даже пока не пыталась туда соваться. Зашла на кухню, не раздеваясь, поставила чайник, зачем-то брякнула: «Сначала о живых. Ты будешь кушать, папа?» — «Если ты будешь, то и я поем». Что-то смастерила, подала. Посидели молча. Потом вдруг взметнулась — по-деловому, раз! — и зашла в ту комнату. Уже поняла, что её больше не увижу. Увидела гроб, диагонально стоящий на столе посреди комнаты. Дурацкое освещение из плафонов, которые мама долго подбирала после ремонта. Высокий, тёмно-коричневый, безликий гроб с палантином (кажется, зелёным). На нашем длинном обеденном столе — его даже, кажется, раздвинули, чтоб гроб поместился. А ведь мама была такая маленькая, меньше меня, а после болезни, так наверняка кожа да кости остались.

Я взяла ноутбук, раскрыла на последовании к отпеванию усопших и стала читать. Делать нечего, ночь длинная, кто ещё, если не я. Сначала стояла на коленях, но ноутбук тяжёлый, отдавила себе руки, спина заныла. Пришлось садиться. Папа сначала слушал, потом начал засыпать. Всё было так обыденно, даже боль — физическая, не душевная. А потом пришла кошка. Я было её гнать, а папа говорит: «Пусть посидит, ей тоже надо попрощаться». Ну и посидела минут пять на стуле против гроба и ушла, даже не мяукнув.

В ту ночь я больше не спала, а наутро пришло много народу. В полдень от гроба начало вонять, а я всё пыталась высмотреть в себе признаки отчаяния, а ловила только стопроцентное присутствие. Мне надо было во что бы то ни стало запомнить это всё, чтобы потом в красках ей пересказать. Потом, когда всё это закончится.

Но потом меня прорвало — я выбежала на балкон (двенадцатый этаж, все перепугались, высыпали меня ловить-спасать), а мне хотелось кричать: «Где она сейчас?! Караульте гроб!» Дали валерьянки, кое-как дотерпела до кладбища, а там и дождь пошёл. Её вытащили из гроба, переложили, перемотанную саваном, будто широкими бинтами, в могилу. Забросали землёй. Отец потом вдруг заторопился: «Мне тут срочно на учёный совет надо, ты езжай домой с кем-нибудь, ключи у тебя есть?» Ну вот тогда я и поняла, что отсюда надо рвать когти и, главное, забирать кошку.

Сначала мне казалось, что, дай я кому надо денег, кошку пустят лететь со мной прямо сейчас. Но потом выяснилось, что оформление документов на это маленькое тельце займет чуть ли не дольше времени, чем мои собственные визовые формальности год назад. Пришлось ехать домой с пустыми руками. И только через три месяца я победоносно вызволила моего пушка, затянутую колтунами (да так, что пришлось брить), выловила из-под горшков с пальмами, отбилась от когтей (одичала совсем, бедняга), сфотографировала на паспорт.

На мамину могилу я заставила себя пойти только в самый последний день. Никаких эмоций, она мне как-то шепнула: «Это всего лишь тело». Пальцы только сильно мёрзли, и гвоздики

никак не хотели ломаться, как положено этим несчастным «цветам для покойников». Пришлось махнуть рукой.

А в самую последнюю ночь, когда внезапно ко мне под одеяло подлезла побритая налысо кошка и, наконец, после многих месяцев мучений замурыкала, я выяснила, что беременна. Я с облегчением уехала и больше не возвращалась. Роды, маленький ребёнок, то-сё. Муж тёти потом прислал снимок нового маминного памятника, его установили только через год, на её день рождения. Бывший день рождения. Чёрт знает что — зачем отмечать дни рождения покойников? Ё

Анаит Сагоян

Я и мои три тени

Сегодня я вдруг понял: дожди больше не закончатся. Это открытие случилось так же неожиданно и просто, как наступает сон. Как сон отступает.

Когда в Берлин приходит ночь, и со всех сторон горят фонарные столбы, я обрастаю тремя тенями. Вот иду я к остановке какой-нибудь благозвучной улицы в каком-нибудь неблагоуханном квартале старых, гордо выгнивающих по контуру домов, и все мои три тени волочатся позади меня, распутившись на пол-окружности. Две крайние тени попадают в поле моего зрения, и тогда мне даже кажется, что меня преследуют. Я резко оборачиваюсь, готовый нанести сокрушающий апперкот, какие делал Стивен Сигал на пиратской плёнке из запыхавшейся в подвале коллекции, и потом мигом фокусирую взгляд на асфальте, будто монетку уронил. А может, показалось, и ничего не звенело? Или всё же уронил? Потом осмотрюсь, удостоверюсь, что был убедителен — для случайных свидетелей. Но никому до меня нет дела. Вот и хорошо. Три мои тени ждут знака, как будто мы заодно. Я им этого не внушал.

Все дожди нынче кислотные. Все тела — аморфные. Мы, смазанные по контуру, шагаем навстречу друг другу, ловко выгибаясь в момент почти неизбежного контакта. А наши тени врастают друг в друга без стеснения и заминки, упиваясь случайными связями и уходя в них с головой. Без обещаний и обязательств. Господи, как же это прекрасно.

Сворачиваю к ночному киоску. Берлинцы нежно называют его *Späti*¹. Как подругу из старших классов, у которой весенняя улыбка и ветер в волосах, и тебя это почти заводит. Но в силу возраста ты ещё придурак и поймёшь это лет через

¹ *Späti*, производное от *Spätkauf* — дословно «поздняя покупка», киоск (в частности, в Берлине), открытый в часы, когда крупные сети магазинов уже закрыты

десять, когда столкнёшься со Шпэти на шумной улице, а она будет держаться за руку с твоим бывшим приятелем. И ветер поднимает её локоны, и она всё та же...

Кажется, что дождь уже залил мне ушные раковины, и сейчас хлынет из рта, ноздрей и выдавит глазные яблоки упорной волной. Его стало слишком много на квадратный метр, на душу населения, даже на три мои тени. Они захлёбываются в лужах и потом глубоко вдыхают в промежутках, медленно обрастая жабрами.

Под ухом заревела пожарная. За ней подросла ещё одна. И только теперь я оглядываюсь и вижу толпу. Смотрю на них, а они все смотрят вверх. И я посмотрел вверх: дождь льёт, молнии бьют. И это пламя такое огромное, языкастое. Со всех окон квартиры на верхнем этаже высунулось, вверх рвётся.

Я спасу тебя, детка! У Стивена Сигала всегда находился под рукой нож, которым он вершил справедливость. Я откопал в рюкзаке лишь ручной насос для велосипеда, и то достал его неуклюже — без ювелирного выката из подмышки, как это делают в самый момент атаки. Да и нападать пока не на кого. Не накручивай, говорю себе, не накручивай.

К моей Шпэти лениво склоняется местный алкаш. Я не то чтобы ревную, нет. Сколько его ни увижу, он в одной и той же помятой футболке рассказывает по району и собирает стеклотару. Так обычно наряжены персонажи в мультфильмах с первого аж до пятисотого эпизода: они уплетают завтрак и путешествуют на край Вселенной, не меняя реквизита. Их даже хоронят в том же одеянии. Просто мультипликаторы хотят, чтобы зрители лучше запомнили образы героев. Или вот Марк Цукерберг²: он настолько богат и оттого настолько не прикован к деньгам, что ему даже неловко хотя бы как-то разнообразить свой гардероб.

Видимо, мой районный Цукерберг тоже очень хочет, чтобы я его запомнил. Или ему неловко чередовать принты на футболках, даже если его привычный реквизит давно провонял, а хорониться пока рано. Потому что он тоже постиг нечто запредельное, прекрасное и ничуть не опошленное роскошью.

² Основатель социальной сети *Facebook*, один из богатейших людей Земли

Он парень простой, и пиво у него из киоска за углом. Это нас даже немного роднит. Как представляю, так страшно становится.

Или все цукерберги — это лишь анимированные проекции, которые заполнили мой придуманный мир? Вот они шагают туда и обратно, заполняя моё больное сознание, и мне больше ничего не нужно, чтобы успокоиться и понимать: я не один. Мне нет дела до всех вокруг, но я не один.

Пожар тем временем только усиливается, будто с неба льёт совсем не дождь, а бензин.

— Вот как бывает: жили себе, беды не знали. А тут вдруг на тебе, и горят. Ничего целым не осталось.

Он со мной говорит? Оглядываюсь и обнаруживаю, что вот уже стою рядом с местным Цукербергом, а все остальные поодаль. И, судя по низким децибелам, я с досадой признаю, что обратился он именно ко мне.

— А жертвы есть? — я осторожно переступаю через свою гордость, как через рваные прутья ограды где-нибудь на заброшенной станции.

— А жертв нет. Хозяйка в отпуске. Кто-то, говорят, поджёл квартиру. В отместку, что ли, — алкаш громко и зло расхохотался и хлебнул пива из бутылки, а мне мгновенно захотелось отстраниться, когда на нас осуждающе уставились.

«Я не с ним», — пристрасно объявили мои плечи, шея и руки, скрутившись и корчась от негодования, но выглядело это совсем неубедительно.

В нос бьёт запах дыма и гнилых ананасов, ещё утром сходявших за слегка переспелые райские дары. Что-то совсем не хочется пива, и киоск за спиной не зазывает внутрь. Даже шоколадка не полезла бы. Они обычно лезут через «не хочу», если прошагал полгорода. Давишься последним куском, он приторный и терпкий, и ты его съедаешь — всё ради того, чтобы вызвать жажду и скорее всё запить.

Но ничего не хочется. И этот пожар рвётся будто не из окон на последнем этаже, а прямо из моих глаз. Он занял всё пространство. Пожарные задействованы, но всё уже сгорело.

— Представляю, вернётся хозяйка с моря, загоревшая такая. А загоревшая не она одна! — Цукерберг давится от злорадного смеха, тряся в восторге кулаком.

— Заткнись, неудачник! У человека беда, — говорю я, наконец, закипев, и с размахом выталкиваю бутылку из его руки. Стекло бьётся об асфальт, а его ладонь секунды две так и остаётся раскрытой.

— Помягче, помягче, — алкаш неуверенно кладёт руки в карманы брюк, а я испытываю неприкрытую ненависть впере-мешку с чувством превосходства. Мне отчего-то противно последнее.

Мы молчим. Я не уйду. Это мой любимый киоск у дома. Если кто и должен свалить или хотя бы отодвинуться, так это точно не я.

— А представь: вот она, одинокая дама, квартиру свою заперла, уехала, скажем, на Лазурный берег. А ведь мог быть у неё когда-то муж. И жили они себе хорошо. Хотя, если она теперь одна, значит, не так хорошо и жили. Но вдруг жили! Планы строили, думали, что когда-нибудь решатся завести детей. Но что-то складывалось не так: она полнела, он грубел. День за днём поедали они карривёрст и поммес³. Гонялись за скидками и покупали ненужный хлам. Им впаривали тарифы, которые создавали хрупкую видимость защиты. А потом она так располнела и так расхрабрела, что выдворила мужа на улицу. А он теперь такой, как я, — Цукерберг небрежно сжал пальцами футболку на груди, слегка потянув ее. Всё это показалось мне жалким зрелищем.

— Никогда нельзя угадать наверняка, почему люди остаются одни, если ты не знаешь их судьбы, — я уже не переступаю через гордость. Я теперь по ту сторону. Я говорю с Цукербергом.

— И то верно. Возможно, не было у неё никакого мужа. А есть сестра где-нибудь за городом, мать в доме престарелых. И навещает она их раз в два месяца. И совсем она не одинока. Кто знает...

— Есть прикурить? — к нам подошёл зевака и ленивым жестом двух пальцев у рта изобразил курение. Наверно, на случай, если его слова перекрыло фоном дождя.

³ *Currywurst, Pommes* — сосиска с соусом карри и картофель фри, символы немецкого фастфуда

— Не курю, отвали, — лениво ответил мой невольный собеседник, да и я развёл руками. Зевака ушёл ни с чем, а мы ещё долго молчали.

Пожарные и полиция вывели на улицу соседних с горячей квартирой жильцов. Напуганная толпа перешёптывалась и отчаянно ждала исхода. Беспомощные жильцы тревожно уставились на свои окна. В уютном домашнем облачении, с охапкой самых важных документов в руках, они впервые на своём веку ощущали чувство близкой пропасти. Никто не знал, что с этим делать. А пропасть дышала и выпускала дым прямо под их ногами.

— Посмотри ты на них: жалкие, наивные человечки. Они экономят воду в своих сливных бачках, искренне веря, что спасут мир, — Цукерберг таранит подошвой осколок бутылки на асфальте. Скрежет отвратительный. — Ты любил когда-то?

— Когда-то мы все любили.

— А так, чтобы всю последующую жизнь загубить?

Даже не знаю, что ответить. И да, и нет. И вроде как почти полюбил, но не успел за это пострадать. Тем не менее ночами напролёт она мерещится мне в нелепых силуэтах и глупых вывесках. Как будто всё могло быть иначе. А теперь — пропасть выпускает дым прямо под моими ногами. Хочется обвинить во всём именно её. За то, что всё пошло не так. За то, что был придурком, за то, что ветер в её волосах...

— А я вот загубил, — продолжил он, не ожидая ответа. — Бывало, бродили с ней по парку. Руки у неё холодные, как рыбу в ладонь поймал. А я их держу, грею. То одну, то другую. И года не прошло, как полетела первая тарелка. Через месяц вторая, вдребезги. А руки у неё всё холодные, из года в год. Однажды я понял, что ненавижу её. Потому что у меня не та работа, не те планы. И не то чтобы она была виновата во всём. Я сам себя губил, а она лишь помогала мне это увидеть. Как в зеркале. Смотришь на неё — и видишь свою не самую приглядную сторону.

— А измениться — никак?

— Да засосало уже по полной. Не успел. Решал, как же избавиться от неё. Думал, сама уйдёт. А она бойкая — вот и ушёл вместо неё я. Так и жил дальше. Жил и ненавидел ещё сильнее.

Но порой как вспомню, что руки холодные у неё, хочется всю стеклотару переломать, что насобирал за утро.

Цукерберг замахнулся, как будто запустил бутылку, а мне даже показалось, что я услышал звук бьющегося стекла. Но тут толпа поодаль расступилась: осколки окна полетели вниз. Мой собеседник продолжил, как ни в чём не бывало, но сбавил тон:

— Мы ненавидим в других себя самих. За то, что позволили им видеть нашу слабость. За то, что были придурками, и они это запомнили.

Меня обдало холодком. Берлинская ночь стала неудобной, футболки было уже недостаточно. Я вдруг понял, почему моя старшеклассница не отпускает меня. Чего-то я ей недосказал. Милая Шпэти, ты — зеркало всех моих неудач. Стою, смотрю на горящую квартиру и ловлю себя на страшной мысли, что и сам не прочь бы спалить к чертям всё, что где-то в нескольких кварталах отсюда окружает мою даже не бывшую. От этого ужасного открытия меня слегка скашивает. Я плотнее прижимаюсь к витрине.

Утром всё вокруг станет намного проще и понятнее, говорю себе. Это всё ночь. Во всём виноват дождь. Не накручивай. Не накручивай. Промокшие до нитки, окружённые фонарями, мы становимся безумцами, способными на безумно жалкие поступки. А наступит утро, и повыходят наружу все эти счастливицы в узких завернутых штанишках и их наивные подруги, что носят эко-сумки с врезающимися в плечо лямками. И лица у них такие необременённые, как будто никто у них ни разу не крал велосипеда. Или даже раз не выкрутил седло. И вот ты смотришь на них, и всё кажется проще.

— Хорошо-то как! — мой собеседник потянулся, аж кости затрепали. Меня хватил сладкий озноб, как будто это мои кости. Захотелось спать. — До чего хорошо. Утром пройду по району, соберу бутылок. Куплю карривурст и потолкую с местными о пожаре.

— И всё? — усмехнулся я в ответ.

— И всё, — Цукерберг притупил на мне взгляд, как будто хотел спросить: *а что ещё?* Да ничего. Все цукерберги постигли нечто прекрасное.

Когда был потушен последний очаг возгорания, алкаш резко оттолкнулся от витрины киоска и запагал прочь. Видимо, ни хлеба, ни зрелищ дальнейшее не сулило. Он с омерзением отбивался от дождя, который сразу настиг его за навесом. Капли шумно расползались по земле, и он не слышал, как что-то выпало из его кармана. Я почти было окликнул его, но тут узнал предмет в луже. Когда я подобрал спичечный коробок, он был уже совсем мокрый, но дождь не успел ещё смыть жёлтых разводов и запаха бензина.

Я иду прочь от дыма и тревоги. Прочь от выдохов облегчения, выпускаемых толпой. Ни злорадствуя, ни сочувствуя. Шпэти... Ну что, Шпэти? Всё считаешь выручку, перевыполнила план? Тут такое пожарище, а ты сбыла зевакам табака и алкоголя на неделю вперед. Каждый выживает по-своему. И ты тоже изменилась. Совсем другая стала. А мне остаётся лишь вспоминать прежние твои локоны на ветру.

Да и я уже не тот. Все мои герои — на потёртых киноплёнках, а их ашперкоты больше никого не впечатляют. Все мои женщины — фантомы в пёстрых отблесках ночного города, а собеседники жмут в карманах спичечные коробки, пропахшие горючим. И музыка моя — из прошлого века. Стою под множеством фонарей, освещённый до дыр. Я всего лишь слизняк, чужак у киоска за углом. Что, чёрт возьми, я делаю здесь?..

Дождь льёт без повода и цели. Голова идёт кругом. Вот иду я к остановке какой-нибудь благозвучной улицы в каком-нибудь неблагоуханном квартале старых, гордо выгнивающих по контуру домов, а позади меня, дружно взявшись за руки, ступают широкоплечий Сигал, постигший нечто прекрасное Цукерберг и милая Шпэти из старших классов. Хочется резко обернуться и столкнуть их куда-нибудь на обочину или в канаву. Но, сколько ни крутись, они дышат тебе в затылок до самого рассвета. Пока, наконец, не потухнут фонари. **Г**



Дарья Рубо

Леопард

Мой славный норвежский наркоман два года назад исчез из Берлина и бесследно растворился в мире. Жил в Уругвае, в родном Осло и ещё где-то. Чем он занимался, не знает никто. Потом вернулся и написал мне сообщение: «Ты где? Хочешь пить водку?» За время его отсутствия я не выучила английский, он почти забыл немецкий, напиваться с гугл-переводчиком не очень хотелось.

Но недели через две, в одну из июньских ночей в баре мне не хотелось допивать своё вино, надо мной зловеще нависли стены и ненужные воспоминания, стало особенно одиноко, и мысль встретиться с ним не показалась такой уж дурацкой.

— Ты где?

— Я на вечеринке. Тут скучно. Хочешь спать у меня?

— Да.

В баре, где я была, пахло сигаретами, а на улице так сильно пахло липами, что голова кружилась больше, чем от сигаретного дыма. Воздух был как будто липким, тускло светили фонари, улица упиралась в мерно меняющийся цвет светофор.

Прошло два года, но каждое лето похоже на предыдущее — сначала пахнет сиренью, потом липами. Когда мы с ним познакомились, ещё пахло сиренью: жизнь казалось лёгкой, я была постоянно пьяной, мне нравилось, как он играет на гитаре. Он просил меня говорить по-русски, я просила его говорить по-норвежски. Мы, естественно, ничего не понимали, и это нам тоже нравилось. Мы купались в озёрах возле Потсдама и ругались с барыгами в Хазенхайде. С тех пор прошла целая жизнь, в ней всё было иначе и шёл какой-то другой фильм: то ли про любовь, то ли про драку.

По абсолютно пустой тёмной улице он шёл навстречу походкой моряка, давно не ступавшего на землю, улыбался

и протягивал ко мне руки. Чем ближе он становился, тем более нереальной казалась мне эта встреча.

— У меня есть спид, кетамин, мет, немного валиума¹. Мне кажется, мы можем устроить любую вечеринку, какую захотим!

Я купила себе пива.

— Как там Южная Америка?

— Кул².

— Как там Осло?

— Кул.

— Фотографируешь ещё?

— Нет, я написал роман. Написал роман про героя, наркотики, столкновения, приключения, странствия, насилие, отчаяние и счастье.

— Это звучит круто.

— Это очень круто! Просто кто-то должен его... как это слово... издать!

Уже издаелека он показал мне балкон своей квартиры, сказал, что живёт без соседей. Квартиру он снял у какой-то девочки — на окнах висели разноцветные шторы, а на гвоздях, вбитых в стену возле зеркала, бусы.

— Сейчас включу музыку и принесу водки.

Дверь балкона была настежь открыта, возле неё стоял диван. Где-то совсем на краю горизонта намечалась заря, но было ещё темно. Ветер гулял по большому, огороженному железным забором двору индустриального здания, шумели каптаны и редкие машины. Каждое лето похоже на предыдущее, конец каждой летней ночи похож на другой.

Я лежала на диване, повернув голову к окну, надо мной парусом надувалась штора. Меня убаюкивало на ветру, внизу спал Нойкёльн³, пахло липами. Было спокойно, июнь будет бесконечно повторяться. Всё прекрасно, всё прекрасно и бессмысленно.

Норвежец открывал моё пиво ножом и глубоко порезал два пальца. Он стоял посреди кухни, худой, почти прозрачный, кровь капала с одного пальца, другой он засунул в рот.

¹ Виды наркотиков

² Круто (англ.)

³ Район в Берлине

— Возьми бумагу.

— Нет, я ок.

— Возьми пластырь.

— Нет, я ок.

Потом он достал пакетик из кармана своих джинсов. Он не мог сделать себе дорожку: как только он сгреб пальцы, кровь капала на тарелку, на комки ещё не раскрошенного порошка. Я раскатала ему дорожку спида, потом он попросил раскатать ещё одну — кетаминна. Сказал, что я скучная, и что мне следовало бы сделать себе тоже одну. Я пила своё пиво и смотрела, как его голова медленно сползает на мои колени.

— Ты в порядке?

— Да, очень.

Он стал гладить меня по ноге, кровь снова закапала, моя нога стала красной и липкой. Провёл ладонью по моей щеке и волосам, кровь продолжала капать мне на шею, на белую футболку, на лицо.

Меня как будто качало ветром из стороны сторону. Где-то в голове фоном пронеслась мысль: «Пожалуйста, не передознишь сегодня». И быстро исчезла.

Глаза закрывались, и норвежец в пятнах крови казался маленьким леопардом, свернувшимся у меня под боком, шмыгающим носом.

Над домами отчётливо проявилась заря.

— Я лягу спать, ок?

— Погоди, я лягу с тобой. Нужно только отыскать валиум. Мы обнялись, не накрываясь одеялом.

— Потрахаемся?

— Как ты можешь трахаться после всего, что принял?

— Я думаю получится, смотри.

— Давай спать. **¶**

Дарья Бобровская

ÜberDichter — Сверхпереводчик или суперпоэт?

О переводимости поэзии русского Берлина сегодня

Сегодняшний русский Берлин отдалённо напоминает Берлин 20-х годов прошлого века, когда в НЭПском микрокосмосе жили и писали Андрей Белый, Максим Горький, Борис Пастернак, Владислав Ходасевич, Виктор Шкловский и все-все-все. И даже если поэты сегодня стали по большей части слэмерами и организаторами концептуальных мероприятий, русский литературный Берлин переживает сейчас ренессанс.

Переживает он его, однако, обособленно от Берлина немецкого, оставаясь в своей нише и на своей волне. Из русских поэтических мероприятий, лингвистически доступных обычной немецкой публике, приходят на ум разве что чтения в культурном центре *ausland*. Язык — это средство выражения, но это и чёткая граница жизни текста, граница его среды. Поэтому организовать хороший перевод — это, по сути, соединить параллельные прямые, по природе своей не пересекающиеся.

Полгода назад со своими литературными и околосредовыми друзьями я задумала эксперимент — под кодовым названием *ÜberDichter*¹. Смысл в следующем: авторы, пишущие на русском, немецком или английском языках, переводят друг друга по принципу «помоги себе сам». По итогам первого семестра поделюсь некоторыми наблюдениями — скептическими и не очень — о переводимости современных поэтических текстов вообще. (Это, как сказал бы Бродский, «ряд наблюдений», поэтому полнота картинка не важна.)

Итак, способ первый и наиболее распространённый (в

¹ Совмещение немецких слов *Übersetzer* (переводчик) и *Dichter* (поэт)

силу, возможно, своей экономичности): автор переводит сам себя. Из знакомых мне берлино-лейпцигских поэтов этот способ время от времени практикуют более или менее все, кто свободно владеет немецким. За скобками оставляю авторов, изначально пишущих на двух языках (Александр Филиута, Борис Шапиро, Дмитрий Вачедин и другие), так как в этом случае речь, скорее, идёт не о переводе, а об адаптации текстов.

Не углубляясь в литературоведческий анализ, покажу несколько, с моей точки зрения, удачных и менее удачных переводов. Виктор Капишников:

«иммигрантское»

«*So ein Immigrantending*»

будучи пастушком
во время дождя
я загонял коров
и прятался
под **крышей кошары**²

ein Hirtenjunge war ich
und während des Regens
trieb ich die Kühe
und verbarg mich
unter dem **Dach des Verschlags**

в деревне **кошмары**
сосут кровь **комары**
я мечтал надувая
мыльные пузыри
наподобие земного **шара**

Im Dorf der **Alpdrücken**
saugen Blut die **Mücken**
Ich träumte — während ich
lernte die Seifenblasen
nach der Art der **Erdkugel**
aufzublasen

Меняется размер — что не критично, так как это не влияет на восприятие текста. Самое печальное в переводе, однако, в том, что пропадает звукопись — «под-КрыШей-КоШары-КоШмары-Комары-Шара», а рифма *Alpdrücken/Mücken* лишена того изящества, которое есть в оригинале.

А сейчас — пример так называемой вольной интерпретации. Буду критиковать собственный текст.

² Здесь и далее текст выделен автором статьи

в первом часу

um eins

нет ни прежних хозяев,
ни прежних собак.
запах дома давно
непривычный, чужой.
в свою будку ступает,
трёт цепь, как наждак.
...только пёс всё равно
возвратится домой.

kein früherer Herr,
kein früherer Hund lebt noch.
auch du riechst nicht mehr,
mein Haus, mein Heim, mein Loch.
ich tret' in dich rein
und halte die Kette fest.
für immer und ewig meins,
mein Haus, mein Knecht, mein Nest.

Главная ошибка в том, что при переводе изменено лицо повествования. То, что в немецком тексте повествование ведётся от лица пса, понятно только в случае, если предварительно изучишь оригинал. Замена ритма и мелодики текста, с моей точки зрения, не критична, так как в общем и целом перевод приобрёл свою собственную тональность.

Вполне удачный перевод Виктора Капишникова:

я стоял под занавесом звёзд
мама доила корову
а я гонял комаров с марлей в руках
молоко звонко звенело в ведро
и когда-то тогда
под звёздами Млечного Пути
я понял что я один

Ich stand unter dem Vorhang
der Sterne
Die Mutter molkte die Kuh
Und ich trieb die Mücken
mit dem Mull in den Händen
Die Milch klang in den
Eimer klangvoll
Und einst dann
Unter den Sternen der
Milchstraße
Ich habe verstanden dass
ich einsam bin

Оригинал построен на ритме и звукописи — оба элемента прекрасно переданы при переводе. Инверсия последней строчки явно к месту.

Ещё один пример, участница тандема Елена Блохина:

Я — нож,	Bin Messer,
Вонзённый в сердце разума	Gejagt ins Herz des Sinnes
Бесстрастным отблеском	Als der gleichgültige Abglanz
холодной стали.	des kalten Stahles.

Ритм, мелодика — всё на месте. *Gejagt ins Herz des Sinnes* — очень неплохая находка.

Способ номер два — отдать текст на перевод профессиональному переводчику и не мучиться. Плюсы и минусы этого способа обсуждать не стану, так как в результате всё зависит от того, насколько переводчик чувствует язык автора и обладает при этом техникой поэтического перевода.

Легче всего переводятся, с моей точки зрения, тексты наподобие хокку (пишу это под впечатлением от текстов и переводов Анны Глазовой, московской поэтессы, живущей в Берлине). Чем больше, однако, в тексте звукописи, рифмы и культурных реалий — тем сложнее будет переводчику передать его суть. При этом очевидной разницы, кто станет исполнителем — сам автор или же третье лицо — подозреваю, нет.

Приведу по одному примеру, удачному и не очень, из собственной коллекции. Переводчик из Штутгарта Маркус Манелюк очень вовремя помог мне с переводом нескольких моих текстов с московским колоритом на немецкий.

Вот этот фрагмент получился отлично:

perpetuum mobile

в четыре утра Покровка вдыхает глотками
восточное солнце и пепел вчерашних окурков,
истоптана бутсами модных московских придурков,
и что-то в ней есть, что не выскажешь просто словами.

perpetuum mobile

um vier in der Früh — die Pokrovka gespült von der fließen-
den Sonne des Ostens, der Asche der gestrigen Kippen,
zerstapft von den Stiefeln der modischen moskauer Deppen —
und hat etwas an sich, das Worte nicht einfach erschließen.

Текст течёт, звучит, анжамбеманы типа *fließen-den* интригуют, рифма *Kippen — Derpen* визуально приятна. Переводчик точно передаёт «московскость» текста.

...Концовка текста, однако, не радует:

откуда-то знаю, что я не умру от бациллы,
не буду убита, не спрыгну в бездонную пропасть.
стального винта укрощённая нежная лопасть
меня охранит. Этот русский *perpetuum mobile*.

ich weiß, dass Bazillen mich niemals besiegen,
ich werd' nicht erschlagen und meide den endlosen Abgrund.
der stählernen Schraube gezähmter und zärtlicher Mund
beschützt mich. Dies' russisch' Perpetuum mobile.

Безосновательно меняется ритм, скатываясь на строгий школьный амфибрахий (и почти что по Шиллеру: *dies' russisch'...*). А теперь — попробуйте набрать в рот шоколадки M&M's и говорить *der stählernen Schraube gezähmter und zärtlicher Mund*. Это вам не *Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung*...

...И ещё раз о неповторимости рифмы. Анатолий Гринвальд в переводе Александра Ницберга:

Амместат зрелости

Matura

клеймо́м отмечено **плечо**
и рюмки глаз налит **печалью**
закрыто на **переучёт**
где нас дождаться **обещали**

gebrandmarkt auch das schulterblatt
ein schnapsglas-auge blickt verdrossen
wo man auf uns gewartet hat
ist wegen inventur geschlossen

Стройный и очень изящный ряд «плечо — печалью — переучёт — обещали» заменён резким *schulterblatt — gewartet hat; verdrossen — geschlossen*. Ну и, конечно, уникальное советское «переучёт» со всеми оттенками обеденного трагизма...

Теперь кое-что на десерт. Он же, Анатолий Гринвальд, в том же тексте:

прожечь сигарой облака	glimmstängel durch die wolken ziehn
пить кофе материться в блогах	ein wenig chatten kaffee breakfast
мы не в претензии к богам	den göttern haben wir verziehn
мы сами в чём-то были боги	wir waren selber götter etwas

Браво. Очаровательная инверсия, англицизмы и рифма, пограничная с анаграммой (как и в оригинале и во множестве других текстов автора).

Собственно, к аналогичным выводам приходишь и в случае, если авторы переводят друг друга. Плюс погрешности этого способа, конечно же, состоят в том, что при переводе чужих текстов авторы зачастую теряют нейтральность переводчика. Так как всё равно лучше авторов знают, как следовало бы написать оригинал...

Несколько примеров из *buterbrod*-а (лейпцигского проекта тандемного перевода, возникшего в 2010 вокруг Елены Иноземцевой, Виктора Капишникова и С^о). Стихи Шапи Magathes (*Schatzi Magathes*):

Maria,
 du hattest das schönste Kind.
 Und als du den Kinderwagen
 über die holprigen Eselswege Bethlehems
 schobst, kam dir nicht auch der Gedanke,
 dein Sohn wird es einmal besser haben?

Мария,
 твоё дитя было самым прекрасным.
 Но когда ты толкала коляску
 по ухабам выючных дорог Вифлеема,
 не проходило ли и тебе в голову,
 что однажды твоему сыну повезёт больше?

Поэзия этого текста в его яркой метафоре, ритме и смысле. Перевод передаёт всё это в полном объёме и оставляет такое же впечатление, как и оригинал. Стихи Елены Иноземцевой:

Зима выходит на охоту
и ждёт следов твоих.

С пригорка
глядит в неё
уставший Брейгель:
на хрупкий лёд,
на жёлтый шорох
сухого тростника,
на солнце
морозно-клюквенного цвета,
на влажный снег,
на дым над домом...

Der Winter bricht auf zur Jagd
und lauert auf deine Fährte.

Es schaut auf ihn
von der Anhöhe aus
der ermattete Brueghel:
auf das dünne Eis,
das gelbe Rauschen
Trockenen Schilfs,
die Sonne
der frostigen Moosbeerblüte,
auf den klammen Schnee,
den Rauch überm Haus...

Один в один переданы метафоры и яркие образы, практически сохранён ритм. В целом же отдельные элементы оригинала легко переносимы на другое полотно, так как осязаемость текста связана напрямую с его лексикой, а не, скажем, со звукописью или рифмой («хрупкий лёд», «сухого тростника», «морозно-клюквенного», «влажный снег»).

Итак, утверждение «поэзия неперевода» верно настолько же, как и «поэзия переводима». Чем больше суть стихотворения заключена в его музыке, звукописи, рифме или же культурно коннотированной лексике, тем сложнее будет эту оболочку передать на другом языке. И наоборот: чем ближе оригинал к математике и хокку, тем легче он поддаётся переводу. Именно поэтому некоторые поэтические тексты непереводимы, и с этим надо смириться. Попытки их перевода только исковеркают текст.

Какой из способов перевода эффективнее — по сути, дело вкуса и возможностей. Переводить текст должен, конечно, тот, кто чувствует как язык перевода, так и сам оригинал. Если автор не обладает достаточным «чутьём на иностранный язык», перевод получится искусственным, как музейный экспонат. Если переводчик не ощущает текст оригинала — перевод также получится неживым.

Эксперимент *ÜberDichter* продолжается. Кстати: мы ищем переводчиков и авторов! **Тол**

Gerhard Falkner

Ignatien

Elegien am Rande des Nervenzusammenbruchs

*Ach, ich trage mein Herz mit mir herum
wie ein nördliches Land den Keim einer Südfrucht.
Heinrich von Kleist*

Ignatia 1

Wer, wenn nicht ich, hörte mich denn
aus der Enge der Ordnungen
dem Ingrimme der Zeichen
in entsprechender Zeit?
Wer führte mich denn
aus der Unhintergebarkeit
von Sprache
ins endlich Offene —
Welches Tier soll ich denn anschreien?
Welche Helligkeit?
Welche Tapeten?
Wem käme es zu, Hallo! zu sagen
oder Hoppla!, nur damit irgendetwas
gesagt sei
das leicht ist!
Einer in Bergblusen vielleicht
ein Bergblusenwunder
einer wirklich bewandert
mit Pickel und Spache
einer dem Enge
und einer dem Ordnung
nicht fremd sind

Герхард Фалькнер

Игнации

Элегии на грани нервного истощения

Переводы Елены Раджешвари

*Ах, я ношу свое сердце повсюду с собой,
как северная земля зародыши южных плодов.
Генрих фон Кляйст*

Игнация 1

Кто, как не я, слушал себя
из тесноты порядка
скрытому гневу знаков внимая
в урочное время?
Кто выводил меня
из прямолинейности
языка
в окончательную открытость —
К какому же зверю звать теперь?
К яркости каких светил?
К каким обоям?
Кому подобает сказать, привет!
или опля! чтобы сказано
было хоть что-нибудь
невесомое!
Некто в горной рубашке возможно
рубашек горное чудо
истинно некто искусный
в обращении с ледорубом и речью
некто кому теснота
и некто порядок кому
вовсе не чужды

ein Senne
der die Echos absammelt
von der graslosen Nordwand
ein Regenspfeifer
ein Johan-Sebastian-Bach-Pfeifer
ein Pfeifer des ewig sich trollenden
Rondo alla turca.

Ignatia 2

Und immer wieder sind es Reiherschnäbel
gespenstisch gewetzt
an den Glatzen der alten Eiszeiten
immer wieder linguistische Funde
Knochen versteinerte Silben und Buchenstäbchen
angekokelt vom Angstlachen
verschollener Frühmenschen
ein Rudel Hirsche, Gazellen oder Springböcke
das hinaustobt bis in die Fingerspitzen
der Höhlenbemaler
Stiere und Zeichen, datiert
von den Zerfallsgeschwindigkeiten
der Holzkohle, glühende Isotope
den Sternen verborgen
dass nur die Steine
ihre Spuren zeigen
Immer wieder sind wir die Sache
auf die wir hereinfallen
das alte Subjekt, die Nummer mit dem
Einen, Unverwechselbaren. Immer
haben wir die falschen Papiere.
Das Bedeutende verfehlt seine Bedeutung
das Zeichen verfehlt das Bezeichnete
hinter den stummen Worten
leuchten die stillen Weiten /
Doch wie auf Schlitten gezogen
durch ewiges Eis

горное пастбище
 собирающее эхо
 с безлиственных стен севера
 желтоногий зүёк
 насвистывающий Баха
 Иоганн-Себастьяна свистун
 бесконечную трелью Rondo своим alla turca.

Игнация 2

И опять и опять это всего лишь аистники
 что отшлифованы до призраков
 на лысинах ледниковых периодов
 вновь и вновь лингвистические открытия
 костяки обугленных слов
 окаменевшие палочки слогов
 подпаленные страхом и смехом
 первобытных людей и животных
 стада оленей, газелей, антилоп или спрингбоков,
 мятущихся в пальцах пещерных
 художников,
 тельцы и их знаки, датируемые
 распадом древесных углей,
 скоростью раскалённых изотопов,
 недоступные свету солнца
 настолько что камни
 одни сохранили ещё их следы
 И опять и опять это мы та удочка
 на которую попадаемся,
 старинный субъект, трюк с Единым, неповторимым. Как всегда
 нас застали с поддельными паспортами.
 Как значимое промахивается мимо значения,
 знак существует без обозначаемого
 за немymi оборотами речи
 уже просвечивает удалённое молчание /
 Но медленное будто на санях
 по вечному льду проташенное

dieses langsame Wachsen der Stammbäume
an deren letzten Verästelungen
die eigenen Zeiträume sprießen.
Unser glücklichster Sommer wird
wenn das so weitergeht
auf Stelzen an uns vorbeitanzen
wie eine verstaubte Zirkusnummer.

Ignatia 9

Engel sind heikel.
Schwarzfahrer sind sie der himmlischen Umzüge, der
kleinen Kabinen
verwirbelter Luft, die segeln im Aufwind der Sprache.
Engel aus Aramith. Segelnde rote Kugeln.
Ihre feuerfesten Flügel sind, wenn sie rauschen, geflüsterter Jubel.
Engel sind reine Innerheit. Entsetzlich zart.
Entsetzlich.
Zart wie die Gelüste einer Frau, zusammengehalten von
einer Heftklammer.
Wie ein junger Mann, gestaltet wie ein Seufzer,
der einem Strand entlangweht, dessen Weite ihn auslöscht.
Wie der Fühler des Zitronenfalters (vor der geöffneten
Klappe der Mikrowelle).
Die Namen der Engel sind Farben
Farben aus den Fabriken einstigen glühenden Glaubens
Komponentensignale!
Flügel und Bewegung des Flügels werden getrennt übertragen.
Eine Billiarde Bilder täglich.
Welche Farbe hat welche Farbe hat welche Farbe?
Rot oder rot? Mark Zuckerberg entscheidet!
Die Engel liegen als Punks mit gepiercten Augen
vor den Portalen von Facebook.
Ihre Hunde erschallen.
Ist hier das Jetzt jetzt denn endlich einen Moment lang ewig?

назревание роста дерева генеалогий
 где на верхних его разветвлениях пробиваются побег
 пространств собственных
 Если дело и дальше так же пойдёт
 то счастливейшее из лет
 мимо нас протанцует свой
 наскучивший цирковой номер на ходулях.

Игнация 9

Ангелы шепетильны.
 Безбилетные пассажиры небесных пассажей,
 сжатый воздух в кабинах, восходящий словесный поток их
 паруса наполняет.
 Ангелы из арамита. Бильярдные шары, ветром набитые
 перекаати-поле.
 Крылья их огнеупорны и, если шум производят, то ликующим
 шёпотом.
 Ангелы — это чистейшая внутренность. Чудовищная
 хрустальность. Хрупкость. Ужасающая.
 Хрупкость, как прихоти женщины, сжатые скрепкой.
 Как молодой человек в образе вздоха, растворённого долготой
 побережья.
 Как усик лимонницы (перед распахнутой
 дверцей микроволновой печи).
 Имена ангелов — это цвета, цветы
 заводов и фабрик, производителей бывшей огнедышащей веры
 сигналы её компонентов!
 Крылья и движения крыльев транслируются отдельно.
 Ежедневные мириады трансляций.
 Какой у цвета цвет какого цвета цвет какого цвета?
 Красный? или же красный, решает Марк Цукерберг.
 Ангелы прикорнули панками с серьгой на глазах
 на ступенях портала фейсбука.
 Их собаки звучат.
 Здесь ли теперь / то теперь когда наконец-то мгновенье
 длиною в вечность?

Людмила Улицкая: Радуюсь успеху, я не особо его ценю

Интервью без политики

После выхода своего романа «Лестница Якова» Людмила Улицкая неоднократно говорила, что эта работа станет последней в её писательской биографии. О причинах этого решения, о своих авторских пожеланиях и достижениях, о целях и находках, а также о «своей» Германии и немецкой литературе Людмила Улицкая рассказала в интервью главному редактору журнала «Берлин.Берега» Григорию Аросеву.

«Берлин.Берега»: Уважаемая Людмила Евгеньевна, что для вас Германия — не «русская», а Германия в целом? Возможно, какие-то личные впечатления, возможно, исключительно историко-культурные ассоциации?

Людмила Улицкая: Немецкому языку меня учили с детства, был даже период, когда я немецкий знала, но впоследствии прекрасным образом забыла почти до нуля. В детстве учила наизусть немецкие стихи... Учительница была замечательная, рижанка, еврейка, пережившая концлагерь совсем юной девочкой. В Германии я никогда не жила, но это была, в некотором смысле, первая моя граница, где я проводила довольно много времени: после первой публикации моей книги на немецком языке я не однажды получала стипендии в разных литературных домах в Германии. Работала там. И очень благодарна за эту возможность.

Рискну предположить, что немецкая классика вам хорошо знакома, а вот XX век — Музиль, Т. Манн, Бёлль, Грасс, Зюскинд, Фейхтвангер, Ремарк или кто-либо ещё — повлияли ли эти авторы как-либо на вас?

Я не беру на себя смелость утверждать, что немецкая классика мне хорошо знакома. Я человек плохо образованный, во всяком случае, по сравнению с моим дедом. Вопрос о том,

кто на меня повлиял, кого я считаю своими учителями — всегда вызывает некоторое смущение. Мне проще сказать, кого из писателей я люблю, кто для меня важен. Но и это связано с течением времени: в юности важны были одни авторы, теперь другие. И это никак не соотносится с тем, что я сама делаю.

Музиль прошёл мимо меня, думаю, потому что поздно попал в руки, Зюскинда знаю только по «Парфюмеру» — нет, совсем не любила. А вот Томас Манн был очень значителен для меня в юные годы, в особенности «Доктор Фаустус» и «Смерть в Венеции». Бёля я читала постоянно... Но главным немецким автором в нашем доме был Рильке. Мой муж очень его любит, и немецкий язык у него хороший, так что Рильке у нас живёт в доме без переводов. Но для меня, конечно, более важным была влюблённость в Рильке молодого Пастернака. Всё довольно прихотливо. Дело в том, что у меня не было филологического образования, и по этой причине и до сих пор есть какие-то белые пятна на тех местах, которые плотно закрыты у тех, кто имел регулярное академическое образование. Но отчасти это и хорошо: всё, что я люблю, свободно и без всякого образовательного принуждения.

Можно ли сказать, что на вас кто-либо из писателей именно повлиял, как на человека и/или как на прозаика?

Это вообще-то вопрос не ко мне. Я совершенно не занимаюсь литературоведением, тем более, связанным с моими собственными писаниями. Оставим этот вопрос тем, кому это интересно. С детства я влюблялась в писателей — и такими объектами любви были последовательно Киплинг, О.Генри, Сервантес (очень рано, лет в семь-восемь), Пастернак, Толстой, Набоков... Лучшее, что написано на русском языке — «Капитанская дочка». Проза Пушкина для меня важнее его стихов.

Некоторые авторы оставались со мной на всю жизнь, другие — на время... Гораздо большее влияние оказывали на меня живые люди, которых — прекраснейших! — щедро дарила мне жизнь. Российскую послевоенную словесность я всегда знала плохо. Советскую литературу стала читать очень поздно — из диссидентского высокомерия и снобизма. Скажем, до

Юрия Нагибина я так и не добралась — недавно случайно в руки попали его дневники, они показались мне очень интересными в той части, где речь о его военных годах. Может, теперь прочитаю его столь популярные когда-то романы. Не уверена. Я читаю медленно, довольно мало и в основном «по делу» — к сожалению! — так что не знаю, заполню ли я когда-нибудь эти пробелы. Честно говоря, и не убеждена, что это необходимо. А вот поэзия послевоенных лет меня занимала. И сильно.

Я с большим восхищением слушаю постоянно Дмитрия Быкова, благодаря ему я стала представлять себе приблизительно географическую карту советской литературы после конца тридцатых — но, боюсь, уже не будет в моей жизни времени на то, чтобы прочитать «Русский лес» Леонова, «Цемент» Гладкова, или даже «Клима Самгина» Горького... Жизнь коротка, времени мало.

Кажется, что у вас не было какого-то одного громкого дебюта в литературе: впервые напечатались вы с одной вещью, известность обрели с другой, а настоящую славу и заслуженную репутацию одного из наиболее выдающихся авторов современности вы получили благодаря третьей. Согласны ли вы с такой интерпретацией, и если да, то как вы сами считаете, столь постепенный заход на самый верх был для вас делом неизбежным или просто так сложились обстоятельства?

У меня фантастически удачная литературная карьера — так сложились обстоятельства. Моя первая книга, сборник рассказов «Бедные родственники», вышла в 1993 году на французском языке в издательстве *Gallimard*. В России книга с этим названием появилась только через год и прошла вполне незамеченной — до сих пор хранится у меня дома остаток тиража, до сих пор я дарю друзьям эту первую, в бумажной обложке книжечку, которая принесла издателям один убыток, а меня освободила раз и навсегда от стремления к успеху. Вторая книга на французском — повесть «Сонечка» — принесла мне премию Медичи за лучший переводной роман года во Франции. Случилось также и пребывание с этой повестью в шорт-листе

«Русского Букера», это был то ли первый, то ли второй год существования этой самой престижной в России литературной премии. Ну, и так далее.

Но самой большой своей жизненной удачей я считаю тот факт, что моя первая книга вышла, когда мне было пятьдесят лет, то есть я была вполне взрослым человеком и, что самое важное, у меня не было ни малейших притязаний на большую литературную карьеру — все мои сверстники-писатели были уже в генеральских чинах, а я была рядовым, «без армии, без славы», и эта установка, что я ни в каких литературных и карьерных соревнованиях не участвую, освободила меня от всех мелочных переживаний на этом месте, которых на самом деле не так уж легко избежать. Всё моё литературное ученичество произошло очень рано, и когда я осмелилась напечатать свои рассказы, я была уже вполне «взрослым» писателем. То есть, радуясь успеху, я не особо его ценю. И не для этого я писала свои книжки двадцать пять лет.

«И не для этого я писала свои книжки двадцать пять лет» — а для чего? Ставили ли вы перед собой осознанные цели, или поначалу это шло по наитию?

Нет, просто очень нравится это занятие — составлять предложения из слов. Иногда очень радуюсь. Иногда очень трудно. Какие бы то ни было цели только с этим и связаны — сказать себе самой: «да, вот так правильно». А что такое «правильно» — определить не смогу. Просто порой вижу — не получается. И буксую, пока не сдвинусь.

Можете ли вы признать, что стали первой по-настоящему выдающейся (чтобы не разбрасываться другими эпитетами) писательницей-прозаиком в истории русской литературы? До революции были Панаева да Чеботаревская, которые более известны как жёны Некрасова и Сологуба, пара мемуаристок (включая А. П. Керн), математик Ковалевская, тоже что-то написавшая, и одиозная Молоховец. В советские времена ситуация с прозаиками была ещё хуже — Шагинян, Токарева и жизнеописательницы вождей.

Нет, совершенно не согласна, причём по нескольким соображениям. Во-первых, боюсь, что вы преувеличиваете мою роль. Панаевой и Чеботаревской не читала, Керн восхитительная, а «Подарок молодой хозяйке», который всё моё детство был лучшим лекарством от плохого настроения, написан, как говорит легенда, вообще не женщиной, а отставным генералом, укрывшимся под псевдонимом. Вы совершенно забыли о Людмиле Петрушевской, которая первоклассный писатель, сыгравший огромную роль в открытии темы «расчеловечивания человека» в советское время. Есть Татьяна Толстая, с её врождённым писательским даром. Были прекрасные писательницы, имена которых оказались в зоне публицистики и мемуаров — Лидия Гинзбург, Надежда Мандельштам, да немало, честное слово, немало...

И всё же: как вы думаете, почему до вас среди женщин было много великих поэтов, а прозаиков — совсем не было?

Мне несколько льстит, что вы мне придаёте роль какого-то водораздела... Но это хороший вопрос: женщина вошла в письменную культуру сравнительно недавно, только с конца XIX века появились первые женщины-профессионалы, вообще женщины с высшим образованием. У женского писательства гораздо более короткая история, чем у мужского.

Кстати, существует ли в вашей системе координат разделение на «мужскую» и «женскую» литературы?

Если мы начнём составлять список плохих книг, то за длинную историю писательства мужчинами их написано гораздо больше. Я думаю, что словосочетание «женская литература», которая сегодня имеет презрительный оттенок, только начинается. В этом месте феминистки могут мне поаплодировать.

Важно ли для вас то, что сейчас в русской литературе много женщин, которые пишут прекрасные книги (Рубина, Вишневецкая, Степнова, Этанг, Чижова, Славникова и

многие другие), или для вас принципиально, чтобы книга просто была хорошей, а кто её написал — второстепенно?

Всё, что делают мужчины и женщины, несёт на себе отпечаток пола. Ничего в этом плохого нет. И вы сами назвали ряд женских имен, и действительно, всё это замечательные писатели. Если угодно — писательницы. Не могу с вами не согласиться — качество книги не определяется полом автора. К тому же, вы сами почему-то отделили поэтов от писателей, а между тем здесь нет такой уж непроходимой границы, особенно в наше время, когда стираются не только границы между жанрами, но даже и между видами искусств. Словом, если бы греческим музам сегодня пришло бы в голову разделить современных художников «по родам войск», у них возникло бы много проблем.

Вы поначалу не чувствовали в себе сил на роман, или просто так вышло, что первыми у вас стали получаться рассказы?

Я точила когти, растила зубки на рассказах, и прошло не менее десяти лет, прежде чем я взялась за роман. Это была «Медея и её дети». Некоторые мои друзья считают, что рассказы у меня получаются гораздо лучше, чем романы. В душе я с ними готова согласиться. Но пока я писала эти бесконечные романы, рассказы от меня ушли. Вероятно, обидевшись. И не уверена, что вернутся.

Существует ли в природе ваш рассказ, который вам самый особенно нравится?

Лет пять тому назад я переходила из одного издательства в другое, и мне пришлось перечитать в короткий отрезок времени всё, что я написала. Это было серьёзное для меня испытание. Я же не перечитываю своих книг после того, как они изданы, многое — признаться! — забываю. И по этой причине я читала свои рассказы как чужие, очень отстранённым глазом. И они мне понравились. Некоторые даже очень. Один я просто напрочь забыла, даже не помнила, чем дело кончится. Нет, всё с ними в порядке, выбрать лучший или любимый невозможно.

Могли бы вы поведать историю «Цю-юриха» — Вашего самого необычного рассказа? При его чтении складывается ощущение, что это вообще написано осознанно в жанре притчи или даже фантастики...

Обычно какой-то крючочек, хоть небольшой, подкидывает жизнь. Давным-давно, в тридесятom царстве, в другом государстве, мама моя решила купить себе шубу, что в те времена событие было по своему значению огромное. Кинули клич. Отозвалась одна приятельница, сказала, что её приятельница продаёт шубу, потому что вышла замуж за швейцарца и уезжает за границу. Мама моя завязала деньги в узелок и взяла меня с собой как консультанта, а также и для охраны возможного имущества. Лет мне было около двадцати, я была девочка умненькая, может, поумнее, чем сейчас. Разыскали мы с мамой квартиру этой двоюродной знакомой, поднялись, и открыла нам дверь женщина, которая стала через много лет героиней моего рассказа.

Шуба не подошла, не помню этой шубы, но её рассказ, как она поставила себе задачу выйти за иностранца, как его отловила на учебник не помню какого языка, как на приманку, на какой-то выставке. А теперь она уезжала к своему мужу в Швейцарию. Рассказ её был очаровательно-глупым, говорила она очень важно, со значением и разными подтекстами — она меня в некотором смысле учила, как правильно жить. Мы с мамой вышли от неё и просто катались от смеха. А рассказ «Цю-юрих» я написала спустя несколько десятилетий.

«Казус Кукоцкого» и «Даниэль Штайн, переводчик» (не только они, но они особенно) очень впечатляют doskonaльным знанием нелитературного материала. Медико-биологические аспекты из «Казуса Кукоцкого» (и некоторые другие) вы, очевидно, брали из своего профессионального опыта. А как вы изучали другие темы — историю еврейства/христианства, советское диссидентство и прочие?

Я очень недолго была научным работником, всего два года, но след, видимо, остался. Да и вообще я люблю учиться. Для меня каждая большая книга — ещё одно высшее обра-

зование. Когда я закончила писать «Даниэля», весь пол был заставлен стопками книг. Я их читала. Без конца. Если бы не большой сквозняк в моей голове и всё, что я прочитала, в ней бы оседало прочно, я была бы очень образованным человеком. Но поскольку всё выдувается довольно быстро, я с большой свежестью принималась за новые темы...

Говорят, что угасание Елены — Ваш самый любимый фрагмент «Казуса Кукоцкого». Так ли это? И в любом случае: её скитания по воображаемым пространствам могут быть восприняты как предлагаемая вами модель мира. Не было ли у вас такой мысли при работе над этой частью?

Ну, скажем, так — одна из моделей. У меня был опыт общения с такой вот старой женщиной, моей родственницей, у которой растворялась память. Это был фантастический опыт. То, что она мне говорила, когда я её усаживала в ванную, обрывочные фразы, странные, далеко не всегда понятные, позволили мне сконструировать мир Елены.

Не один раз мне доводилось слышать примерно такое мнение о романе «Искренне ваш Шурик»: «Прекрасно написан, но ужасно злит» — потому что, как вы сами написали в конце книги, Шурик — полный мудака, да и многие другие герои не сильно лучше. Согласитесь ли вы с тем, что этот роман получился своего рода полупровокацией-полупредупреждением чуть ли не несколькими поколениям?

Про то, что злит, не слышала. А вот не один раз мне говорили мужчины — Боже мой, я узнал себя в вашем Шурике. Да, собственно, я и написала-то этот роман, наблюдая за одним замечательным, прекрасным нашим другом, который и был таким вот Шуриком. Я иногда страшно злилась на него и сказала ему — я напишу про тебя роман. Он не прочитал романа — умер за несколько дней до выхода книги.

Скрещение жанров в «Даниэле Штайне» — это был осознанный выбор с самого начала или так получилось в результате работы? Возможно, из-за этого история уникальной личности оказалась чуть более уязвимой.

Я несколько раз пыталась написать этот роман, разными способами хотела подойти к этой теме. То, что я в конце концов сделала — это та форма, которая меня более всего устраивала. К тому же я заранее знала, что пишу для очень небольшого количества людей, которым это вообще интересно. Их оказалось гораздо больше, чем я предполагала, и роман вызвал большое раздражение. Это, может, и не плохо — затронуло!

Художественные достоинства книги очевидны, однако считаете ли вы, что основная (простите, это субъективная трактовка — «основная») тема «Даниэля Штайна» — еврейское христианство — сейчас действительно актуальна? И считали ли вы так в то время, когда её писали?

Нет, для меня не это было основной темой. Гораздо важнее для меня была идея брата Даниэля — очень простая и мало доступная: не важно, как именно ты веруешь, важно, как ты себя в этой жизни ведёшь... Очень простенькая мысль.

Дмитрий Быков, о котором вы выше очень лестно отзывались, не так давно во время радиовыступления сказал о вас следующее: «Улицкая — исследователь патологий массового сознания, которые внедряются ещё в детстве». Прав ли Быков в обеих частях утверждения — про исследование патологий и про их внедрение в детстве?

Про исследование патологий — даже забавно: это моя первая в жизни работа, в Институте педиатрии, в лаборатории по изучению развития мозга. Занимались там, в частности, гидроцефалией. Что же касается патологий массового сознания — не так просто. Я и сама носитель этих патологий, я не с неба упала, я родилась и выросла в России и, думаю, что больна всеми теми болезнями, которыми переболел советский человек. Думаю, что в этом лучше разберутся люди следующих поколений, свободные от наших родовых травм.

Случается ли так, что вы читаете современную прозу и узнаете в текстах себя — не как человека, а как писателя? По этическим соображениям, разумеется, имена называть нельзя, но подмечаете ли вы такую тенденцию?

Нет, изредка испытываю чувство, похожее на огорчение: почему не я это написала?

Определять лейтмотив творчества автора, конечно, дело критиков и литературоведов, однако: можно ли сказать, что вы в основном пишете о выходе человека за пределы своей имманентности, самой разнообразной — от половой до национальной?

Да, меня очень занимает сама тема границы. Их очень много в нашей жизни. Разнообразных, опасных, не всегда точно обозначенных. Очень меня это занимает.

Вы сказали, что не уверены, вернутся ли к вам рассказы. В то же время вы неоднократно утверждали, что устали от романов. Логично ли сделать вывод, что к короткой прозе, в отличие от длинной, вы не против обратиться вновь?

Последние три недели я просыпаюсь и вижу перед собой линию горизонта. Иногда граница моря и неба очень резко очерчена, иногда размыта. Каждый день — новая картинка перед глазами. Но вообще-то одна и та же. И каждый день совершенно новый закат. И сейчас мне ничего другого не хочется, кроме как смотреть туда. **БГ**

Вадим Фадин

Тема границы в литературе

Эссе

В Москве, в последние годы казённой службы, мне приходилось иметь так много дела с английским письменным языком — читать технические журналы и вести переписку — что стало чудиться, будто без него не обойтись и во всякой, не только в деловой, жизни; даже сочиняя собственную прозу, я постоянно думал о том, какую она станет в английском переводе — не потеряются ли оттенки, не исказится ли смысл. Некоторые такие будущие неловкости бывали очевидны, и текст приходилось править.

Отделаться от этой привычки удалось очень быстро, стоило лишь переехать в страну с незнакомой речью — в Германию. Английский, поневоле уйдя из моего бытия, стал успешно забываться, а представлять, как прозвучат мои фразы на немецком, я был не в состоянии, и надеялся на переводчиков. Но тут-то и встретились трудности: оказалось, например, что простейшее, состоящее лишь из единственного слова, название одной из моих поэтических книжек — «Черта» — и то неприводимо.

Книжка эта была написана в городке Дубулты, на берегу Балтийского моря, в год моего пятидесятилетия, и под чертою в ней подразумевались не только чёткая линия морского горизонта и неверная линия прибоя, несправедливо ограничивающая пешее движение, но одновременно и возрастной рубеж, и всякий рубеж, какой нельзя переступить; у германских переводчиков, между тем получалось из черты лишь что-то одно — либо линия на бумаге, либо предел и граница (*Strich* или *Grenze*); вместе это не сливалось. Поочерёдно соглашаясь то на одно, то на другое, я постепенно склонился к *Grenze*, объяснив самому себе, что горизонт тоже, в сущности, является скорее

пределом, чем линией, и постаравшись не смущаться тем, что для русских ума и уха здесь в первую очередь слышалась вполне определённая «граница» — примерно та самая, возле которой в годы моего пионерского детства сиживал в дозоре пограничник Карацупа с собакой. Разумеется, и она достойна описания: само её существование, порождающее невесёлую картину разделения соседей, в которой Иван Иванович видит Ивана Никифоровича лишь издали и не то что прийти в гости, но и приблизиться, чтобы просто пожать руку, но и поссориться не может, оставаясь чем-то непреодолимым, как муха — стеклом; само её присутствие в нашем мире не скажу — отравляет, но изменяет психику каждого.

Кстати, вот и разница: здесь (для мухи) стекло — это предел, но не линия же, не *Strich*. Смотрим в словаре: граница — черта раздела.

Странно, что мы так мало о ней знаем. Всякий собственный опыт, даже перегруженный драмами, чаще всего односторонен; без чтения художественной литературы (или без сочинения её) он так узок, что с его помощью не то что учить других, но и образумиться самому почти невозможно. Со чтением же... Чтение может даже усугубить односторонность; это вопрос выбора, в котором мы, слава Богу, ещё свободны (только в котором и свободны — и то счастье); прежде чем выбирать, правда, не мешает справляться, что, о чём и для чего нужно или можно читать. Но как раз о границе читать почти и нечего.

Как раз о границе почти нечего и писать. Дедовщина на заставах несколько не жесточе и не мягче, нежели, допустим, в артиллерии или на флоте, а чисто человеческие заботы несению службы солдатом-пограничником не сопутствуют — разве что заставит поволноваться собака. Быть или не быть — это решают в уме совсем другие люди и в другой обстановке, неизбежный же для служивых выбор стрелять или нет — вопрос уже не житейский, а профессиональный.

Однажды в некоей войсковой части (нет, не на погран-заставе, а в середине России) произошёл такой случай. Поздним вечером или ночью — во всяком случае, в темноте — мимо какого-то склада проходил посторонний офицер. Стоявший на

часах солдатик, как и положено по уставу, выкрикнул заученную формулу: «Стой — стрелять буду!» Прохожий остановился, по уставу, овеществив тем самым первую часть формулы, а солдатик не мешкая выполнил — вторую: стал стрелять. Этот случай потом где только ни рассказывали в качестве будто бы анекдота; того офицера, однако, уже не было в живых.

Прозвучавшую в мирное время в одном советском триллере лихую реплику: «Никогда не сомневайтесь, нужно ли стрелять — сомнение уже есть повод для стрельбы», — с удовольствием повторяла молодёжь, но, к счастью, право решать профессиональные вопросы осталось всё же у профессионалов. Писателю остаётся решать иные, вечные вопросы; это возможно лишь если действие его книг вынесено за пределы дозора, секрета, засады или погони, — но тогда при чём тут граница? Да ни при чём — вот о ней и не пишут. А что до трёх греков, вёзших в Одессу контрабанду — это уже о другом, буквально: о противной стороне. Вчитавшись в написанное на выбранную нами тему — да более того, просто вдумавшись, как если бы собираясь писать самостоятельно, — можно обнаружить или хотя бы предположить, озадачившись, что переживания в момент кульминации сюжета, а именно при переходе границы или в близкое к тому время, чаще и полнее всего испытывают персонажи активной стороны: не стерегущие, а нарушающие границу — не Карацупа с псом Ингусом, а бандиты, контрабандисты или бунтовщики.

Это понятно, если рассматривать границу не только как линию, *Strich* на карте или даже запретную полосу на земле, пропаханную сторожевым трактором. Стеречь предел — занятие для думающего человека пустое; иное дело — к нему приближаться, волнуясь за исход (ведь он затем и назван пределом, чтобы никто подле него не претендовал на продолжение, уверовав: мол, достигни черты — и ничто уже не двинется никуда); впрочем, досягали же его люди, и с ними не случалось катастроф. Человек, однако, любопытен, и тот, кто только приблизился, непременно захочет ещё и пересечь. Это не оговорка: там найдётся, что пересекать, ведь абсолютный конец чего-либо невозможен, и окончание одного всегда становится

началом другого; по Набокову, «всякий предел предполагает существование чего-то за ним», и это значит, что, упёршись в конце предназначенного вам тупика в глухой забор, бывает полезно проверить в последнем дырочку.

Ширма, ограда или стена всё же не могут служить единственным и последним препятствием: мало ли подобных было преодолено в детстве, безо всяких там крючьев и верёвок? — этот опыт бесценен. Вот и Берлинскую стену — одолевал же кто-то... О Китайской говорить нечего, она — деталь пейзажа. Существует, однако, нечто нематериальное, что, останавливая умысленников в каких-то условных местах, на которые ещё можно ступить, но из которых дальше нельзя сделать и полшага, позволяет рубежам оставаться рубежами, — это страх, неважно, большой или малый. И ладно бы это был свойственный любопытным страх перед неизвестностью (с таким мы бы справились как раз с помощью нашей дырки), но нет, в придуманном здесь положении охватывает самый настоящий, животный — перед физической болью, крушением судьбы, перед лишением здоровья, жизни и даже свободы.

Исчезни страх перед наказанием — и число законопослушных граждан заметно уменьшится, многие ринутся переходить черту — ту или иную, а затем одну за другой. Тем более нечего будет уповать на сдерживающую силу стыда перед ближними, если они-то, ближние, прямо на глазах и пойдут нарушать все заповеди подряд. Впрочем, стыд тут слишком грубая категория: удержавшиеся в такой обстановке от падения будут благодарны куда более мягкому влиянию совести. Да и что может быть стыдно? Убить — что угодно, только не стыдно, а вот украсть — да. Стыдно раздеваться при всех, а те, кто делает гадости другим, не стыдятся, будучи пойманными, хотя начальное чувство стыда у них, конечно, присутствует, ведь таятся же они, спуская брюки для тех или иных дел; отсутствует же у них — совесть. Мудрейший Даль (или мудрейший живой язык наш) определяет так: совесть — «...нравственное чутьё в человеке, внутреннее сознание добра и зла, тайник души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка... прирождённая правда, в различной степени

развития». А стыд, там же, это «чувство или внутреннее сознание предосудительного, уничижение, самоосуждение, раскаянье и смирение, нутряная исповедь перед совестью... срам, позор, поруганье, унижение в глазах людей...» Цитата длинна, но она и не окончена, её нельзя оборвать перед самым замечательным определением: «...застыванье крови от унижительного, скорбного чувства». Вот чего, оказывается, надо бояться: того, что будешь жить с застывшей кровью, в унижении и скорби — если с этим можно выжить.

Зато можно выжить в любой, кажется, обстановке, даже за какою-то проходимою лишь в одну сторону границей — читая словарь Даля. На пресловутый вопрос о том, какую бы единственную книгу вы взяли с собою на необитаемый остров, чаще всего отвечают, что Библию, — кривя, конечно, душой, оттого что её, во-первых, не станешь читать подряд и залпом, а только понемногу, только нужные, то есть припешенные в голову по случаю места, а во-вторых, оттого, что тот, кто искренне хочет взять с собою Писание, и без того давно хранит его в сердце своём и в уме своём, зная наизусть. Отвечают ещё и так: называют какую-нибудь толстенную эпопею — которую, конечно, не только не вызубрили до последнего слова, но и цитируют с осторожностью. А третий вариант ответа — как раз Даль, которого можно с восторгом читать с какого угодно места, и который, на какой остров с ним ни попади, поможет, отведя опасность забвения родства, до самого момента избавления чувствовать себя причастным к живой великорусской культуре. Вчитываясь в него, не устаёшь удивляться не только точности определений, необходимых и всякой энциклопедии, но — красочности оных, но — метафоричности. Только что мы оставались, чтобы разглядеть «застыванье крови от унижительного, скорбного чувства», но, двинувшись дальше, чтобы воссоединиться с заброшенной было заглавной темой, никак не пройдём мимо и определения черты: она, конечно, и «всякий линейный знак, прямой или кривой, сделанный в один почерк», но она же и «линия, воображаемая или отвлечённая, предел плоскости». Загляни я в книгу раньше, кажется, так и назвал бы свою — «Предел плоскости»; это уж (когда бы само слово «плос-

кость» имело только геометрический смысл) адекватно перевели бы и чужеземцы, оттого что здесь есть всё — и кромка, и обрыв, и тупик. Перед глазами невольно встаёт картина, относящаяся к другой, главной Книге, присутствующей на острове и повсюду: Он, идущий по воде, аки посуху, озирая плоское море и, впереди, плоскую сушу, ограниченные — то и другая — ровной чертою горизонта, пределом, за которым существует что-то ещё.

Сущее и «за», и «до» было ведомо Ему, и Он не любопытствовал. Грешное же ремесло сочинителя предполагает нечто иное: при незнании обстоятельств и невозможности прикинуть к дырочке — выдумывать происходящее за пределами; кстати, это не худший способ познания жизни. Другого мы и не знали, живя в стране, где всему следовало втискиваться в указанные сверху границы, строго, к тому ж, охраняемые — настолько, что и говорить о них не позволялось ни в периодике, ни даже в литературе. Собственно, советская литература как раз и была олицетворением этих границ. **Ю**

Виктор Фишман

Иван Голль: меж странами и языками

29 марта 1891 года в Лотарингии, входившей тогда в состав Германской империи, во франкоязычной семье еврейского торговца одеждой родился Исаак Ланг (*Isaac Lang*) — один из будущих основоположников немецкого экспрессионизма, известный любителям лирической поэзии под славянско-романским псевдонимом Иван Голль.

В разных изданиях этот псевдоним пишется по-разному: *Yvan Goll*, *Ivan Goll*, *Ivan Goll*. А о себе самом он говорил: «По судьбе — еврей, по случайности — француз, по бумажке с печатью — немец». На его веку случились обе мировые войны, оказавшие значительное влияние на литературные стили эпохи. И на каждый из этих стилей строй художественных образов Ивана Голля оказал немалое влияние. Из-за удивительной литературной судьбы его имя до сих пор окутано туманом таинственности, и лишь в последние годы в разных странах и на разных языках начали — после долгого забвения — выходить антологии его произведений. Ведь его творчество, как, пожалуй, никакое другое, объединило культуры Франции и Германии.

В одном из своих стихотворений Иван Голль писал, что его предки жили в еврейской общине под Кёльном. Сам он вырос в еврейской семье, где говорили по-французски (на идиш в Западной Европе евреи, как правило, не говорили), на улице ребёнком он слышал и французский, и немецкий, потом ходил в немецкую гимназию своего родного города Меца, в которой общаться на французском никто не запрещал. Затем Голль учился в Страсбургском университете, где с 1538 вплоть до 1921 года преподавание велось лишь на немецком; жил в немецкоязычной части Швейцарии, затем в Берлине, а после вынужденной эмиграции в США его стихи зазвучали на

английском языке (хотя в его творчестве они незначительны и несущественны). Но мы забегаем вперёд.

Тысячи смертей, первые танки и первые газовые атаки Первой мировой потрясли впечатлительного Исаака, о ту пору 23-летнего. Он посмеивался над немецким милитаризмом в шутке, сравнивавшей французов и немцев: «Французский солдат — переодетый гражданин, немецкий гражданский — переодетый солдат». И ему, человеку призывного возраста, надо было принимать решение: сражаться за Францию против страны его предков, либо встать в ряды антифашистов. Он эмигрировал в Швейцарию, где жил сначала в Цюрихе, затем в Лозанне и Асконе. Выражение своего отношения к действительности вылилось у него не в реальные картины и события, а в чувственные образы и эмоции. То есть в то, что называют экспрессионизмом.

Знаменитая поэтическая антология «Сумерки человечества» (*Menschheitsdämmerung*), составленная Куртом Пинтусом (*Kurt Pinthus*) и вышедшая сразу же после окончания Первой мировой войны, в 1919 году, считается манифестом литературы немецкого экспрессионизма. Она включает в себя 275 стихотворений 23 поэтов, в том числе семь стихотворений Ивана Голля.

В 1926 году в Харькове под редакцией поэта Григория Петникова вышел сборник «Молодая Германия», представивший русским читателям творчество немецких поэтов «экспрессионистского десятилетия» в переводах самого Петникова, а также Фёдора Сологуба, Бориса Пастернака, Осипа Мандельштама, Анатолия Луначарского. В него вошли и несколько авторов «Сумерек», в том числе Иван Голль. Ленинградский рецензент писал: «Среди немногочисленных антологий современной западноевропейской лирики, вышедших у нас за последние годы, «Молодая Германия» может занять, несомненно, виднейшее место по своей культурной значимости, по полноте и систематичности материала, наконец, со стороны художественной ценности переводов»¹.

Осенью 1919 года Голль вместе со своей будущей женой Клэр уехал в Париж. В Париже он писал и публиковал стихи, рассказы, статьи, романы. В 1924 году в двуязычном парижском

¹ http://sites.utoronto.ca/tsq/40/tsq40_petnikov.pdf

журнале *La Revue Rhenane* на немецком языке вышло важное для понимания эволюции Голля эссе «Немецкие поэты и война» (*Die deutsche Dichter und der Krieg*). В этом эссе Голль констатирует конец экспрессионизма как эстетическо-поэтической новизны. Был ли Иван Голль «последним романтиком», как он назвал себя в стихотворении с таким названием, сказать трудно, а вот о своих блужданиях по послевоенной Европе сказано им весьма точно: «Безутешно мечусь по Европе // С мёртвою ласточкою в кармане».

В Париже Иван Голль познакомился с поэтом Андре Бретоном, основоположником сюрреализма, с румынско-французским поэтом еврейского происхождения Тристаном Тцарой, который считается основателем дадаизма, а также Полем Элюаром и другими представителями дадаистическо-сюрреалистического направления. Пример поэзии Голля этого периода — стихотворение «Женщина на бульваре»:

*С какими блондинистыми богами
Зелень лесов она расхищала
И облака подслушивала тоски!
Жар угля прожжёг её траур:
Сердце
Кому его она бросит? Мужчины
Подстерегают падкою своей плоти куски².*

Отстаивая свой личный взгляд на поэзию, Иван Голль в 1924 году опубликовал свой собственный «Манифест сюрреализма» (*Manifest des Surrealismus*), в котором отмежеввался от идей дадизма. Но дружбу с Бретоном, Тцарой, Элюаром и другими не прервал.

Приёмы, свойственные сюрреализму, в особенности при описании любовных коллизий, видны ещё в книге Голля «Стихи о жизни и смерти» (1927). Почти тогда же рождаются и знаменитые «Малайские песни о любви» (*Malaiische Liebeslieder*). Написаны они были по-немецки, но на все европейские языки переводились с французского издания, так как оригинал (1932

² Перевод Алишера Киямова

год) был утерян — его обнаружили и издали только тридцать пять лет спустя. Стихи написаны от имени юной малайской девушки: в них сочетаются чувственная простота и природная фантазия. А посвящены они его тайной возлюбленной, известной немецкой писательнице и поэту Пауле Людвиг (*Paula Ludwig*). Тема вечной любви, столь близкая поэту в эти годы, звучит здесь на живописном (хотя и условном) фоне малайских джунглей.

В Париже Голль познакомился и начал близко общаться с Марком Шагалом, Владимиром Маяковским, Эльзой Триоле, Владиславом Ходасевичем. Там же он написал ряд произведений, как по-немецки, так и по-французски: эссе «Улыбка Вольтера» (1921), романы «Микроб золота» (1927), «Долой Европу» (1928), «Содом и Берлин» (1929), «Агнец Божий» (1929), «Стареющий Люцифер» (1934), а также стихотворную эпопею «Челюскин» (1935). В них, как указано в Электронной еврейской энциклопедии, «присутствует тема деградации Европы»³. (Кстати, в этой статье фамилия Голля пишется с одной «л»; возможно, составители ресурса намекали на русское выражение «голь перекатная»?)

Здесь необходимы пояснения политического свойства. В июне 1935 года в Париже проходил Международный конгресс писателей в защиту культуры. Побывал на нём и Иван Голль. Вот что писал он по этому поводу своей жене 24 июня 1935 года: «Позже я вновь побывал на конгрессе писателей. Здесь действительно сошлись великие из разных стран<...> Целый день речь шла о человеке и человечности<...>, а один немецкий еврей, собрав остатки духа, упрекнул всех в бесполезной болтовне. Естественно, здесь была вся эмиграция, из Германии Генрих и Томас Манны; Бертольт Брехт, Бехер, и Фейхтвангер; французы Андре Мальро и Гассон, Бабель и Пастернак из России. Но к заключительному концу не оказалось никого, кто хотел бы выступить... Вместо болтовни я пишу *Челюскина*...».

Трудно не предположить, что спасение пассажиров парохода «Челюскин» из ледяного плена было для поэта противопоставлением уже обнародованным в 1935 году античеловечным нюрнбергским расовым законам⁴, о которых на конгрессе полит-

³ <http://www.eleven.co.il/article/11254>

⁴ Иницированные Гитлером «Закон о гражданстве Рейха» и «Закон об охране

корректно умалчивали! В выходящем в Москве под редакцией Лиона Фейхтвангера журнале «Слово» (*Das Wort*) опубликованы несколько песен из кантаты «Челюскин» (февраль 1938 года, стр. 63-68).

Центральное место в творчестве Голля тех лет занимает цикл стихов «Иоанн Безземельный» (*Jean sans terre*). Имя и судьба легендарного английского короля из династии Плантагенетов послужили Ивану Голлю основой для создания целой серии баллад. Иоанн Безземельный (1167-1216), младший сын Генриха II, получил своё прозвище из-за того, что его отец раздал все свои земельные владения во Франции в домен старшим сыновьям ещё до рождения самого Иоанна. Скорее всего, судьба английского короля казалась поэту схожей с собственной. Эти чувства наполняют стихи из «Иоанна Безземельного» буквально с первых строк:

*В морях без волн устав бродить бесцельно
В день без зафи на корабле без рей
В порт Иоанн заходит Безземельный
II в дом без стен стучит и без дверей
Он на безногой узнает кровати
С беззубым гребнем женский силуэт
Рот без лица без шепота объятья..
II без любви — грошовой страсти бред...⁵*

«Иоанн Безземельный» был написан на французском языке. И с его переводом на немецкий в язык Гёте и Шиллера впервые в таком объёме влилась французская поэтика. Именно в этом немецкие литературоведы видят особый вклад Ивана Голля в немецкую литературу.

С 1936 по 1939 годы «Иоанн Безземельный» был выпущен в трёх книгах и считается сегодня одним из мировых шедевров. Однако цикл создавался в атмосфере гонений и страха,

немецкой крови и немецкой чести» первую очередь были направлены против евреев. Законы были приняты в 1935 году в Нюрнберге на съезде Национал-социалистической немецкой рабочей партии

⁵ Перевод Вадима Козовского

под коричневыми тучами нацистского небосклона. Уже в 1933 году сборники стихов Ивана Голля были запрещены нацистской пропагандой, и, вместе с книгами других писателей и поэтов, пылали в кострах на площадях Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа и других городов. Поэт вместе с женой Клэр вскоре вынужден был бежать за океан.

Будто бы следуя приписываемому Уинстону Черчиллю афоризму «Успех — не окончателен, неудачи — не фатальны, значение имеет лишь решимость продолжать», Иван Голль в годы эмиграции в США продолжил свою издательскую деятельность. В своём эмигрантском журнале *Exil* («Изгнание»), где он писал лишь по-английски, поэт публично заявлял, что не хочет ни говорить, ни творить на языке Адольфа Гитлера. Из США в Европу Голль вернулся в 1947 году. Вернулся, чтобы здесь умереть — это произошло в 1950 году в Париже.

Но перед этим произошли несколько судьбоносных встреч. И одна из них — с Паулем Целаном во французской столице в 1949 году. Ко времени этой встречи Пауль Целан уже около года жил и работал в Париже, и, прекрасно владея рядом языков, прорывался к читателю, в первую очередь своими немецкими переводами русских, английских, американских и итальянских стихов. Этот выдающийся лирик послевоенного времени перевёл с французского на немецкий три тома стихов Ивана Голля.

В Париже Иван Голль пробыл недолго: врачи послали его в Эльзас лечить лейкемию. Здесь все медсестры и врачи говорили по-немецки — и поэт вернулся к немецкому языку. Он писал стихи на обрывках бумаги и передавал своей жене. Вот отрывок из воспоминаний Клэр Голль, связанных со знаменитым циклом Ивана Голля «Сон-трава»:

...Лёжа в зале с девятнадцатью другими обречёнными, видя перед собой за окном старинный романский фронтон страбургской больницы и её маленькую грациозную церковь, больной поэт вдыхал запах той странной травы, того непостижимого таинственного сон-цветка, цветшего когда-то на германской почве его студенческой юности...

Передавая жене написанные на листиках бумаги стихи, он просил: «Обещай мне не публиковать ничего другого, кроме этих стихотворений. Всё, что я до этого написал, должно быть уничтожено». Написанные в Эльзасе, а затем и в американском госпитале в Париже стихи были опубликованы уже после его смерти и стали настоящим событием.

Об этих стихах Ивана Голля поэт и переводчик Вальдемар Вебер писал: «Поэт, которому через считанные месяцы предстояло навсегда шагнуть за черту земной жизни, бросает вызов максимальным возможностям поэтической речи, пытается заглянуть в непознаваемое, сказать несказанное. Почти безумная попытка шагнуть за пределы самого слова. Эти книги завершили его путь — путь от экспрессионистического пафоса к монтажному стилю сюрреализма и, в конце концов, к внутренне напряжённым, но внешне сдержанным заклинаниям любви, от опьянения словами к строгости формы, от идеологической и авангардистской ангажированности к артистизму»⁶.

За честь считать Ивана Голля своим поэтом борются две страны — Франция и Германия. Судьба распорядилась так, что одна часть архива Голля находится во Франции, в Меце, а другая — в Германии, в литературном архиве города Марбаха (*Deutsches Literaturarchiv Marbach*) и в фондах литературного музея этого же города (*Literaturmuseum der Moderne*). И уже одно это говорит о признании его исключительного таланта обеими странами.

В «Бременской речи» Пауля Целана от 1958 года есть такие слова: «Ведь стихотворение<...> может стать бутылочной почтой, отправленной в надежде — зачастую, конечно, слабой, — что запечатанную бутылку с посланием где-нибудь когда-нибудь прийдёт к берегу. Возможно, то будет берег сердца. Стихи и с этой точки зрения находятся в пути. Они куда-то плывут...»

Давайте надеяться, что стихи Ивана Голля приплывут и к «берегу сердца» русскоязычных читателей. **ГГ**

⁶ «Иностранная литература», № 9/2011. Иван Голль, Стихи. Вступление Клэр Голль. Перевод с немецкого и послесловие Вальдемара Вебера

Юлия Вишке

Русские философы в Берлине 1920-х, или О возможностях и границах интеркультурного диалога

20-е годы XX века были динамичным временем в истории Берлина. Преобразование Берлина в современную метрополию сопровождалось не только политическими волнениями после Первой мировой войны (которую тогда, конечно, называли просто «мировой войной», не предполагая, что за ней последует ещё одна), экономическими лишениями, инфляцией и административным перекраиванием города, но ознаменовалось и одним из ярчайших расцветов культуры, за которым впоследствии закрепилось название «золотые двадцатые». Альфред Дёблин и Кэте Кольвиц, Эрих Кестнер и Франц Кафка, Курт Тухольский и Карл фон Осецкий¹ создали в своих произведениях подчёркнуто интересный и многогранный портрет Берлина той эпохи. Но эта картина была бы не полной, если не принять во внимание тот факт, что в это же время Берлин был городом эмиграции, причём большая часть переселенцев прибыла из только что канувшей в небытие Российской империи, одного из противников Германии по Первой мировой войне. Среди многочисленных эмигрантов в Берлин приехали известные учёные, художники, писатели, музыканты, архитекторы и многие другие. Прибытие русской интеллигенции в Берлин положило начало возможности интеркультурного диалога.

¹ Альфред Дёблин (Alfred Döblin) — писатель, автор романа «Берлин. Александриад»; Кэте Кольвиц (Käthe Kollwitz) — художник, график и скульптор; Эрих Кестнер (Erich Kästner) — писатель, сценарист; Франц Кафка (Franz Kafka) — немецкоязычный писатель; Курт Тухольский (Kurt Tucholsky) — прозаик, поэт, журналист; Карл фон Оссетский (Carl von Ossietzky) — журналист, писатель

Этот диалог между старыми и новыми берлинцами можно наблюдать во всех сферах культуры, хотя в различных областях он происходил с разным успехом. Без культурного обмена 1920-е годы не могли бы называться в полной мере «золотыми». Эта статья посвящена только одному аспекту многогранного феномена интеркультурного диалога Берлина 1920-х годов. Её теоретический фундамент составляют философские вопросы и связанные с ними иные аспекты².

В 1920-е годы в Берлине жил и работал ряд русских философов, которые либо сами бежали от Советской власти, либо были высланы из страны. В 1922-м году правительство Советской России распорядилось выслать за пределы России 150 известных учёных³. В их числе — философы Николай Бердяев, Семён Франк, Иван Ильин, Фёдор Степун, Лев Шестов, Борис Вышеславцев, Сергей Гессен, Лев Карсавин, Николай Лосский, Аарон Штейнберг, Александр Шрейдер и другие. Иными словами — философы, чьи имена были известны не только в России, но и в Европе, чьи труды обсуждались едва ли не повсеместно.

Одной из причин слежки за упомянутыми учёными и последовавшей высылки из России явился сборник статей о философии Освальда Шпенглера (*Oswald Spengler*) и его книге «Закат Европы». Шпенглер сконструировал в этой книге теорию социального распада, впоследствии подхваченную Мартином Хайдеггером (*Martin Heidegger*) и Эрнстом Юнгером (*Ernst Jünger*). Теоретики социального распада продолжают мыслительную традицию ухода от цивилизации поэтических странников романтизма, толстовского возвращения к простоте крестьянства и

² См. классические исследования по русской эмиграции в Германии: Walter Laqueur, *Deutschland und Russland*, Berlin 1965. Hans-Erich Volkmann, *Die russische Emigration in Deutschland 1919-1929*, Würzburg 1966. Robert C. Williams, *Russian Emigrés in Germany 1881-1941*, Ithaca/London 1972. Marc Raeff, *Russia Abroad. A Cultural History of Russian Emigration 1919-1939*, New York 1990. Bettina Dodenhoeft, "Laßt mich nach Rußland heim". Russische Emigranten in Deutschland von 1918 bis 1945, Frankfurt/ Berlin/ Bern etc. 1993. Russische Emigration in Deutschland: Leben im europäischen Bürgerkrieg, hg. Karl Schlögel, Berlin 1995.

³ S. Sergej Chorushi, *Das Philosophenschiff*, in: *Sinn und Form*, 42. Jg. (1990) 5. Heft, 1020-1027.

бегства от современности Поля Гогена к ещё неиспорченным жителям Полинезии. Уже само название книги Шпенглера дало целому поколению немецкой интеллигенции почву для размышлений и наиболее точно выразило всеобщее состояние после первой мировой войны: быть современником находящейся в состоянии агонии и умирающей культурной эпохи.

Шпенглер стал одним из самых читаемых и обсуждаемых авторов Европы, не только из-за того, что он нашёл наиболее подходящие термины для обозначения состояния эпохи, но и потому, что именно он рассматривал историчность человеческого существования и общее смещение акцентов восприятия жизни после 1918-го года в контексте мировой истории. Он первым показал то, что Эдмунд Гуссерль (*Edmund Husserl*) впоследствии назвал радикальным жизненным кризисом европейского человечества. Именно всеевропейский кризис и его философское осмысление стоит понимать как отправную точку интереса русских философов к Шпенглеру.

В 1922-м году в Москве и Петрограде выходит сборник русских философов «Освальд Шпенглер и Закат Европы». Для Ленина, бывшего тогда председателем Совета народных комиссаров, этот сборник послужил предлогом для начала кампании против антибольшевистской интеллигенции и особенно против своего личного политического и идеологического противника — Николая Бердяева, недовольного большевистскими преобразованиями. В августе 1922-го года по всей России были арестованы многие представители интеллигенции. Освобождение происходило только в обмен на подписку о срочном выезде из страны, причём при возвращении грозил расстрел⁴. Таким образом, новые власти предержащие создали модель уничтожения инакомыслящих. Несогласная российская интеллигенция понесла тяжелую личную утрату: потерю родины.

Другой личной и хронологически предшествующей утратой, которой не удалось избежать большей части интеллигенции, явилась производимая советским правительством последовательная оккупация культурной памяти. Русская интел-

⁴ Ср. Christian Hufen, Fedor Stepun: ein politischer Intellektueller aus Rußland in Europa. Die Jahre 1884-1945, Berlin 2001

лигенция, пожалуй, была первой, кто столкнулся с политической аннексией культурной памяти в XX веке. Тоталитарный режим большевистской партии не терпел никаких других мнений, не говоря уже о том, что мы сейчас называем «плюрализмом»: возможно было одно, выверенное партией, мировоззрение. Все размышления, изыскания и исследования об истории России должны были рано или поздно прийти к точке зрения партии, критика которой была немислима. И даже если и возникали сомнения, то они устранялись политическими репрессиями. Воспоминания, отличные от официальной трактовки истории, исчезли вследствие политической оккупации памяти, как из устных суждений, так и из критической рефлексии. Таким образом у философов и писателей, а также представителей других академических профессий был украден их материал для работы. Трагической вершиной этого процесса стал «Краткий курс истории КПСС» Сталина (1938). Естественное желание образованного человека понять, осмыслить, проанализировать историю было попорано власти предержащими, которые назначили только одну возможную, а именно — политическую форму понимания культурной памяти. Пронгравшие в этом столкновении были заведомо известны. В отличие от политических властей, небошевистская интеллигенция искала возможные пути развития будущего и полемизировала по этому поводу. Узурпируя прошлое и историю, тоталитарная власть, однако, пресекала и будущее⁵.

Многие таким образом оказавшиеся под давлением новой власти представители интеллигенции выбрали Германию целью своей эмиграции, тем более, что правительство Веймарской республики направило дружественное приглашение и предоставило условия для жизни. Конечно же, этот выбор русской интеллигенции можно считать сугубо экономическим. Тем не менее, что же явилось более глубокой причиной эмиграции в Германию и, прежде всего, в Берлин? Осталась ли Германия для русских учёных страной поэтов и мыслителей, какой она была до

⁵ См. Jan Assmann, *Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen*, München 20024, 71

Первой мировой войны? Что они надеялись найти в Германии, которая запуталась в тяжёлых послевоенных экономических проблемах, страдала от глубоких политических ран и мастерски создавала новые социальные бомбы?

Нельзя сбрасывать со счетов то, что русская интеллигенция была наилучшим образом знакома с немецкой академической средой. И это в первую очередь относится к философам из России, многие из которых учились в немецких университетах. К тому же, до Первой мировой войны существовал ряд немецко-российских инициатив, например, журнал «Логос», который, помимо Германии, выходил в России и Италии.

Неудивительно, что многие русские философы выбрали Берлин и хотели продолжить диалог, прерванный сражениями Первой мировой, чтобы совместно осмыслить проигранную немцами войну, последующие революционные потрясения и новообразующуюся Европу. Успешное становление такого диалога, как мне кажется, достаточный признак того, что невольные эмигранты постепенно начали находить в новой стране пусть и временный, но всё же дом.

Некоторые русские учёные небезосновательно полагали, что один из результатов Первой мировой войны заключался в смещении жизненных интересов в сторону поверхностного и внешнего. Руководствуясь этим и другими воззрениями, в октябре 1922-го года под председательством Бердяева была создана Русская религиозно-философская академия, целью которой было пробуждение духовных интересов русских, проживающих за границей. Академия предлагала курсы на религиозно-философские и духовно-культурные темы, а также открытые доклады и дискуссии⁶.

В феврале 1923-го по инициативе учёных и профессоров последовало открытие Русского научного института на средства Лиги Наций. Ректором был избран профессор инженер-технолог Всеволод Ясинский. Институт заботился об образовании молодёжи из бывшей Российской империи⁷.

⁶ N. Berdjajef, Russische religiös-philosophische Akademie, in: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 29. November 1922

⁷ Professor Dr. Jassinsky, Das russische wissenschaftliche Institut in Berlin, in: Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung, 6. März 1923

Попытки русских философов осмыслить судьбу новой Европы нашли отклик и в немецкой прессе: либеральные берлинские газеты, такие, как *Berliner Tagesblatt* и *Vossische Zeitung*, регулярно освещали события из русских учёных кругов между 1922 и 1924 годами, то есть в то время, когда Берлин был важнейшим центром русской эмиграции.

Однако очевидный, казалось бы, диалог между русской и немецкой интеллигенцией оказался незначительным, а совместные события — редкими, если не сказать — единичными. Гонимые революцией со своей родины русские нашли пристанище в стране, которая сама была в эпицентре «европейской гражданской войны»⁸, а её интеллигенция решала проблемы и задачи совершенно иного толка. И, возможно, не тяжкие условия повседневности и забота о куске хлеба заставила русских учёных искать нового пристанища в Праге и в Париже, а духовный холод и личная изоляция, с которыми они столкнулись в Германии и которые, помноженные на экономические трудности, побудили их в конечном итоге к отъезду.

За время пребывания в Берлине русские философы были предоставлены сами себе, несмотря на многочисленные публикации на немецком языке. С 1922 по 1924 годы в Русской религиозно-философской академии состоялось всего одно мероприятие с участием немецкого учёного — социолога Макса Шелера (*Max Scheler*). Его доклад, однако, имел показательный для того времени заголовок: «О смысле и сущности страдания»⁹.

В своём докладе Шелер продвигал мысль, что всё развитие человечества, рост цивилизации, распространение знания и культуры сопровождается постепенным ростом страдания, которое можно сократить только жертвенной любовью¹⁰.

⁸ См. Karl Schlögel, *Russische Wegzeichen*, in: *Wegzeichen. Zur Krise der russischen Intelligenz*, Frankfurt a.M. 1990, 5-44, hier: 37. *Russische Emigration in Deutschland: Leben im europäischen Bürgerkrieg*, hg. Karl Schlögel, Berlin 1995

⁹ Cp. *Chronik russischen Lebens in Deutschland: 1918-1941*, hg. von Karl Schlögel, Katharina Kucher, Bernhard Suchy, Berlin 1999, 169

¹⁰ Max Scheler, *Vom Sinn des Leidens*, in: *Schriften zur Soziologie und Weltanschauungslehre*, hg. von Maria Scheler, Bern/München 1963, 36-72

Несмотря на то, что освобождение мира от зла и страдания через силу любви является одним из основных столпов русской мысли, доклад Шелера оказался лишь небольшим эпизодом в жизни Русской религиозно-философской академии и не послужил поводом для более интенсивного диалога, новых дискуссий или докладов других немецких коллег. Вероятно, это можно объяснить глубокой пропастью между горизонтами пережитого и пространствами памяти русских и немецких учёных — в данном случае Макса Шелера. Обе стороны вынесли из опыта войны и последующих социальных потрясений диаметрально противоположные суждения, которые легли в основу отличных друг от друга ожиданий от предполагаемого собеседника. Метафизическое объяснение настоящей общественной ситуации Шелером казалось оторванным от жизни и не предлагало никаких действительных путей выхода из кризиса.

В этой связи примечательно, что, несмотря на большое внимание русских философов к «Закату Европы» и их положительные и благосклонные отзывы, главным недостатком теории Шпенглера все считали её методический релятивизм, который не предлагал ни решения проблем, ни путей выхода из описанного положения Европы. В отличие от Шпенглера, русская философия исходила из существования обязательной для научного знания надвременной точки, в которой соединяются судьбы культур. Так, Семён Франк писал о необходимости «живого знания», недостижимого «ни релятивизмом, ни тщетным пребыванием в хаосе перемен»¹¹, но стремлением к «абсолютному и вечно-живому единству бытия и жизни», благодаря которому и осуществимо понимание хаотичного разнообразия и перемен. Без этого «живого единства»¹² вся книга Шпенглера становится для русских философов только констатацией кризиса европейской культуры и воспоминанием об «истинных духовно-исторических силах человеческой культуры»¹³. Без понимания воз-

¹¹ С. Франк, Кризис западной культуры, в: Освальд Шпенглер и Закат Европы, изд. Н.А. Бердяев, Я.М. Букишпан, Ф.А. Степун, С.Л. Франк, Москва 1922, 34-54, здесь: 39

¹² Там же

¹³ Там же, с. 54

можных выходов из кризиса книга Шпенглера остаётся заложницей пессимистически-скептического характера.

Ещё меньший успех имела попытка с помощью немецких коллег возобновить издание журнала «Логос». В новых политических и общественных условиях не было интереса к таким интернациональным проектам.

Можно ли утверждать, что в Берлине 1920-х годов между русскими и немецкими философами диалог так и не состоялся?

На этот вопрос нельзя ответить утвердительно, поскольку диалог всё-таки происходил, пусть и на несколько ином уровне.

Исследуемые в 1920-е годы немецкими философами проблемы напрямую соотносятся с основными темами работы русских философов. В обоих случаях речь идёт о феномене кризиса, о последствиях войны и революций для европейской культуры, о судьбе и назначении человека в мире, омрачённом «смертью бога». Кроме того, и русские, и немецкие философы в это время обращались к творчеству Достоевского, о чём свидетельствуют книги с названием «Миросозерцание Достоевского», которое выбрал для своего исследования Николай Бердяев, а также австрийский писатель и философ Ханс Прагер¹⁴.

Ни один другой автор не был так любим, читаем и исследуем в Германии между двумя мировыми войнами, как Достоевский. Ещё в начале века почти не существовало литературы о его жизни и творчестве, однако после Первой мировой войны ситуация была исправлена с завидной быстротой: духовный мир романов Достоевского стал предметом науки¹⁵. Особенным интересом пользовались метафизические и этические положения.

Но почему же Достоевский? Что нового он давал, чего было не найти в богатом немецком философском наследии? Почему его идеи нашли отклик у немецкой интеллигенции? Потрясающая жестокость битв Первой мировой войны и разрушительное поражение Германии принесли с собой конец монархии, сопровождаемый революционными потрясениями

¹⁴ Cp. N. Berdjajew *Die Weltanschauung Dostojewskijs*, München 1925; H. Prager *Die Weltanschauung Dostojewskijs*, Hildesheim 1925

¹⁵ Hans Prager. *Die Weltanschauung Dostojewskijs*, Hildesheim 1925, 9

и нестабильной экономической обстановкой. Эта абсолютно новая ситуация поставила под вопрос прежние моральные устои. Интеллигенция увидела в книгах Достоевского преддверие кризиса европейской культуры, обесценивание этических принципов, «коррозию общественной морали», «подрыв экономических основ» и пришествие нового, «азиатского» человека, для которого добро и зло равны¹⁶. Достоевский показал своим немецким читателям, что «под покровом серой повседневности» скрывается истинное лицо человека, его тёмная сторона и «мощь освобождённых от цепей демонов»¹⁷.

В духовном мире романов Достоевского было найдено объяснение феноменов духовного и культурного кризиса, так называемого «заката Европы», о котором писал не только Освальд Шпенглер. Так, Герман Гессе (*Hermann Hesse*) понимал кризис заката Европы как переориентацию на восток, в сторону Азии. Такое понимание несёт с собой отказ от универалистской европейской морали, сформулированной Иммануилом Кантом (*Immanuel Kant*), в пользу «вседозволенности, новой, опасной, ужасной святости»¹⁸. Этот новый моральный идеал должен, согласно Гессе, принести в Европу русский человек: человек, который ничем не отличается от Карамазова. В таком прочтении романы Достоевского выступают в роли энциклопедии о России, и каждый русский подобен Карамазову. Русский человек в понимании Гессе — это «человек из противоположностей, из свойств, из которых только рождается мораль, это человек, который находится в моменте распада и возвращения за занавес *Principium individuationis*. Этот человек — снова первичная материя, несформированный душевный материал. Он не может в такой форме существовать, он может только исчезнуть»¹⁹.

Немецкий философ-идеалист Пауль Наторп (*Paul Natorp*) видел в Достоевском пророка «эры варварства, сгущающихся сумерек и кровавого переворота», которые настигли Европу с

¹⁶ Eduard Thurneysen, Dostojewski, Zürich/Stuttgart 1963, 7

¹⁷ Там же: с. 5 и 7

¹⁸ Hermann Hesse, Die "Brüder Karamasow" oder Der Untergang Europas, in: Blick ins Chaos, Bern 1922, 2

¹⁹ Там же

Первой мировой войной. Эту покинутую богом эпоху он, как и другие представители немецкой интеллигенции, называет духовным и культурным кризисом. Однако, в отличие от Гессе, Наторп понимает Достоевского как автора, который показывает бытие человека во всей полноте и объективности, автора, который как никто другой со всем ясновидением указывает, что познание истинной природы человека есть необходимое условие для выхода из культурного кризиса.

Утвердившаяся большевистская революция в России пугала и одновременно притягивала немецкую интеллигенцию. Большинство об этой огромной стране, её традициях и истории знало мало. И потому революция показалась ей необъяснимым и ужасающим событием, но в то же время — прекрасным и интересным. Очарованность ужасным, стремление к будущему под знаком этого ужасного было симптоматично для немецкой интеллигенции 1920-х годов.

По сравнению со своими немецкими коллегами, русские философы видели в творчестве Достоевского не только скрытые симптомы надвигающегося кризиса культуры, но и возможности выхода из этого кризиса. Достоевский был не только пророком русской революции и последующего хаоса, но тем, кто понимал хаос как необходимую составляющую одного из величайших идеалов русской философской мысли — идеала всеединства.

Несмотря на постоянный интерес русской и немецкой интеллигенций к творчеству Достоевского, и в этой сфере не произошло более глубокого обмена мнениями. Немецкие учёные рассматривали Достоевского как пророка духовного кризиса Европы, певца тёмных, потаённых сторон человеческой души и апостола новой морали, которая применима только для Западной Европы. Интерес к Достоевскому и к русской революции не распространялся на русскую эмигрантскую интеллигенцию. Таким образом, возможность диалога осталась неисчерпанной. Пережившая политический коллапс и против воли покинувшая родину, русская интеллигенция, в свою очередь, искала, частично в отрыве от окружающей реальности, в духовной жизни России последних десятилетий причины революции и возможности освобождения своей страны из большевистского заточения.

Историк Роберт Вильямс назвал эту ситуацию великим парадоксом духовной жизни Германии 1920-х годов²⁰. Соприкосновение с немецкой культурой вело русскую эмиграцию к отчуждению от своей культуры, но не к ассимиляции в духовной жизни Германии. Немецкая интеллигенция, питавшая романтический интерес к России и Востоку, создавала невольно культурный национализм русской интеллигенции, который вёл к духовной изоляции, несмотря на соприкосновение с немцами.

Описанная ситуация духовной жизни Германии 1920-х годов отражает, пожалуй, самый большой парадокс интеркультурного диалога, заключающийся в том, что интеркультурная коммуникация зачастую остаётся поверхностной. Подобный диалог остаётся, по сути, диалогом одной культуры с самой собой. Кажется, что две культуры ведут диалог, обращаясь к одним и тем же темам, переживая одни и те же события, но в действительности каждая из них ведёт разговор только с собой и воспринимает другую постольку, поскольку это помогает ей понять себя. Вникания, проникновения в дух другой культуры не существует, существует лишь попытка самоосмысления. **ИИ**

²⁰ Robert C. Williams, *Russian Emigrés in Germany 1881-1941*, Ithaca/London 1972, 322

Эдуард Лурье

Плюсquamперфект и думы

Алексей Макушинский. *Пароход в Аргентину*¹
Роман. Журнал «Знамя», №№3, 4 / 2014

Книги, удостоенные российских литературных премий и отобранные в разной длины списки номинантов, как правило, вызывают интерес у русскоязычной читающей публики, несмотря на неоднозначное отношение как к самим премиям, так и к отбирающим эти книги комиссиям. Вот и я отметил для себя занявший в 2015 году первое место в международном литературном конкурсе «Русская премия» роман Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину». Честно говоря, ни канувшие в небытие вслед за «Титаником» трансатлантические рейсовые пароходы, ни далёкая Аргентина для меня насущного интереса не представляют, поэтому эта информация осталась где-то на задворках памяти. Заинтересовался я данным произведением после того, как прочёл во втором номере нашего журнала «Берлин.Берега» рассказ Макушинского «Остерго». В этом рассказе обратил на себя внимание пристальный взгляд автора на мир и встречаемых в нем людей, вдумчивые размышления над окружающим и самим собой — то, что становится анахронизмом в эпоху фейсбуков и твиттеров, что хочется смаковать как дорогое выдержанное вино.

Читатель «Парохода» должен быть готов к тому, что текст не очень располагает к беглому чтению за чаем с бутербродами. Тому причиной, например, коллажность содержания, о чём уже предупреждает обложка книги. Бесконечно длающиеся фразы, в которых чередуются, сменяя друг друга, люди, события, даты, ре-

¹ В связи с выходом романа Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину» на немецком языке, журнал «Берлин.Берега» публикует две рецензии на книгу — на русскую, вышедшую чуть раньше, и немецкую версии

марки, настоящее и прошлое разной степени давности — как будто автору не хочется расставаться со всем им созданным даже на одно предложение, поставив в конце него точку. Поэтому вполне для себя логично автор сожалеет, что в русском языке не хватает плюсквамперфекта. Правда, тут же возникает мысль о том, многие ли читатели знают, что это такое, и нужно ли им это знать, как и другие содержащиеся в тексте понятия из разных областей. Но та аудитория, которой сегодня не хватает «чистоты языка» классической литературы, думаю, по достоинству оценит прочитанное.

Роман повествует о некоем Александре Воскобойникове, ровеснике двадцатого века, проведеншем детство в Курляндии, уехавшем после революции в Европу и ставшем знаменитым архитектором. На страницах книги кроме главного героя появляются и его европейские потомки, и друг детства, оставшийся в России и переживший то, что положено было пережить сыну приближенного к государю лица, и Суламифь эпохи Большого Террора, и, наконец, сам автор. С ним читателю предстоит не только перелистать страницы жизни двух друзей, ставших «перемещёнными лицами», но также посетить любимые и памятные ему уголки Парижа и Мюнхена, Риги и Юрмалы, съездить в Лангедок и Прованс. Перебирая как чётки названия площадей, улиц, переулков, мостов, автор приглашает побродить с ним по городу и миру без палки для селфи, вглядываясь в природу и архитектуру, послушать рассказы про людей, которых уже никогда не встретишь, с которыми не познакомишься и не поговоришь. Зовёт прогуляться, внимая собеседнику, тех чудаков, которым это ещё зачем-то нужно. Поразмислить, например, над тем, требуется ли Воскобойникову стать *Vasco*, чтобы сохранить жизнь и собственные убеждения, познать радость творчества и обрести «осмысленный покой» вдали от столь близких сердцу героя прибалтийских дюн.

«Кто, в конце концов, интересуется нами всерьёз?» — этот поставленный автором вопрос не оставляет в покое до конца повествования, да и после прочтения тоже.

На страницах романа друзья детства спустя десятилетия столь разной судьбы встретятся на идущем в Аргентину, не философском, а обычном для первой половины прошлого века

пассажирском пароходе. И главный герой построит в Аргентине — подальше от растерзанной войной Европы — свой недолго просуществовавший «Город Солнца». Недолго, потому что в основу был положен совсем не канон всеобщего равенства, а по-современному утилитарный, и, как теперь выясняется, столь же зыбкий фундамент — нефть.

Alexandre Vosso вернётся в Европу. Здесь он создаст общепризнанные архитектурные шедевры, в их числе и собственный дом. Мы познакомимся с его наследием и наследниками. И у многих читателей вдруг возникнет тревожное чувство: а не выбросят ли на свалку, не разменяют ли эти наследники все те интеллектуальные, общественные и личностные ценности, которые были созданы европейской цивилизацией за все столь непростые годы и столетия? Этим многим, как представляется, важно прочесть данную книгу, продиктованную искренним желанием помнить, сохранить, не потерять.

...А мне захотелось в который раз пересмотреть «Охоту на бабочек» Отара Иоселиани... **Ю**

Елизабет Симон

Послание-связь между временами

Alexei Makushinsky. *Dampfschiff nach Argentinien. Roman.*
Hanser Verlag, 2016. Übersetzt von Annelore Nitschke.
ISBN: 978-3-446-25278-3

Хотелось бы верить, что несчётное количество книг и различных публикаций в Германии не уменьшится вместе с волной эмигрантов и беженцев в двадцатом и начале двадцать первого веков — волной то накатывающей, то спадающей. Проводя определённые параллели с романом Алексея Макушинского «Пароход в Аргентину», только что переведённым на немецкий язык, можно вспомнить несколько книг, оказавших определённое влияние на общество.

Среди прочих — роман Андреаса Коссерта «Холодная родина» (*Andreas Kossert, 1970; Kalte Heimat*), где идёт речь о судьбах немецких изгнанников после 1945 года, книга Маргарет Дёпп «Война оставила на нас отметину» (*Margarete Dörr, 1928-2014; Der Krieg hat uns geprägt*) — о детях, переживших Вторую мировую войну, или сочинение Ульриха Фёлькияйна «Сочувствия ожидать было не от кого» (*Ulrich Völklein, 1949; Mitleid war von niemand zu erwarten*), в которой также говорится о немецких беженцах и перемещённых лицах сороковых годов. И это только в Германии — а ведь ещё были книги, письма и собрания документов из других стран.

После того, как Германия по следам событий 1956 года приняла венгерских беженцев, в стране были опубликованы материалы, предоставленные и российскими эмигрантами. Появились и книга Сюзанны Леонхард «Украденная жизнь» (*Susanne Leonhard, 1895-1984; Gestohlenes Leben*) о судьбе политической эмигрантки в СССР, а также исследование её сына Вольфганга Леонхарда о сталинизме.

От упомянутых книг «Пароход в Аргентину» отличается в первую очередь тем, что он фокусирует внимание не на судьбе эмигранта, а в качестве противовеса вводит также внутренний монолог героя. Благодаря этому происходящее всегда освещается с двух уровней. На втором на передний план изредка выходит порой злой, но реалистичный юмор — так проявляется русское умение подметить нечто смешное. Такой тип повествования, чем-то напоминающий «Улисса» Джеймса Джойса, привносит свой вклад в плотную атмосферу книги.

Жизненные обстоятельства новых беженцев, недавно прибывших в Германию, освещены весьма полно — гораздо полнее, нежели раньше, когда речь шла о других мигрантских волнах. Этому способствовали не только газеты и телевидение, уделявшие актуальной теме всё своё внимание, но и социальные средства массовой информации — в том числе и широко распространённые публичные призывы помогать и содействовать новоприбывшим. Однако, в отличие от подобных «однонаправленных» описаний, в «Пароходе в Аргентину» история всегда сопровождается комментариями в рамках уже упомянутого внутреннего монолога, поднимаясь при этом на другой уровень.

Подобные призывы — нечто новое в сравнении с предыдущими этапами эмиграции. Хорошо известно, что берлинский район Шарлоттенбург и до начала фашистского господства был излюбленной новой «малой родиной» русских эмигрантов, которые после революции 1917 года покинули свою страну. Несколько лет назад немецко-французский телеканал *Arte* в полнометражном фильме рассказал историю одной из таких эмигрантских семей, запечатлев её как пример российско-европейской истории, которой, фактически, больше нет.

Однако если роман «Пароход в Аргентину» относить к эмигрантским романам, можно случайно пройти мимо особого послания этой книги. Как и другие перечисленные выше книги, «Пароход в Аргентину» рассказывает историю путешествия и эмиграции, однако этот роман относится к высокой, можно даже сказать *обаятельной* литературе. Это не биография, а скорее вертящаяся, словно юла, и выглядывающая из-за угла история на уровне *я — я*, которое является авторским *alter ego*.

Ко всему прочему повествовательные плоскости здесь сдвигаются, внутренний монолог демонстрирует не только

рассказчика (а позднее и биографа), но и ставит его во временные и пространственные рамки, отмеченные особой выразительностью благодаря обозначенному ранее типично русскому юмору, всегда связанному с текущей ситуацией.

В 1950-м году Александр Воско получил поручение, из-за которого ему пришлось переехать из Парижа в Аргентину. Четвёртый и пятый десятилетия лет были для него сложнейшим периодом, к тому же его труды подчас не приносили плодов. Всё это продолжалось до его отъезда в Аргентину — поездки, принесшей ему в результате признание и славу. Там же, в Южной Америке, он познакомился и с Марией, своей будущей женой, которая ему родила дочь Вивиану. Во время путешествия, которое Воско совершает на корабле для беженцев, *перемещённых лиц*, он совершенно неожиданно встречает своего близкого друга детских лет, Владимира Граве.

Вместе с Граве Воско строит город Рио Давиа, вырабатывая стиль, который его прославит по всему миру. Однако в дальнейшем Воско с женой и дочерью возвращаются в Париж, а последние годы жизни он проводит в Лангедоке, где и умирает в возрасте 87 лет.

Перевод такого романа — дело нелёгкое, поскольку сверкающую и на всех уровнях играющую историю нужно вначале «поймать». Переводчику Аннелоре Ничке это отлично удалось, хотя в немецком тексте встречаются грамматические ошибки, которые можно было бы исправить. Чтению, однако, они не сильно мешают.

В целом же история жизни Воско — это биографический роман, который складывается из различных встреч, рассказов и других лиц, фигурирующих в этих рассказах. Стихи и притчи из каждой отдельно взятой главы дополняют литературную игру. Всё это — история человека искусства, который, благодаря своему видению пространства и времени, находится вне мейнстрима. Человек этот не действует против природы — он действует вместе с ней. Вот и получается, что роман не рассказывает историю жизни, он протягивает — как кидают на обложке причальный трос с самого верха тем, кто его ждёт внизу — послание-связь между людьми и временами. Это восхитительный роман, разноцветный и сверкающий разными гранями. Как и сама жизнь и люди, её проживающие. **✠**

Зиновий Сагалов

Реквием с шампанским и устрицами¹

Сцены в одном действии

Сцена условна. Афиши. Старинные фотографии. Театральный прожектор. Журнальный столик, на нём горящая свеча. Средних лет женщина, одетая нарядно и со вкусом, расскажет о Нём. Она актриса, поэтому излишне эмоциональна, порывиста, на ходу меняет настроение и темп своего рассказа. Заметна театральная привычка — пользоваться для большей выразительности случайно попавшимися под руку предметами. Это Ольга. Она выбегает из глубины сцены.

1.

ОЛЬГА. Чудом вырвалась!.. Он хочет танцевать только со мной. Ну как отказать руководителю курса? Да ещё в новогоднюю ночь! Когда кружится голова от бешеной музыки и вина, когда мигают на ёлке разноцветные китайские фонарики и впереди вся жизнь. «У меня для вас сюрприз, — шепчет мне Немирович, и его шелковистая борода щекочет мне щёку. — Но первый вальс в Новом году, учтите, за мной...»

О, бьют часы... Пьянит развесёлая музыка, хлопают пробки от шампанского. Вокруг праздничные, беззаботные, ликующие лица. Последний, двенадцатый удар! Ура, Новый, новый год! Немирович во фраке с муаровыми отворотами пробивается в толпе и взглядом, я знаю, ищет меня. Он с двумя бокалами шампанского.

— А теперь слушайте, моя дорогая. Сообщение государственной важности. Скоро, очень скоро появится в Москве новый театр — особенный, художественный. Наш театр. Мы вместе будем его строить. Никакой фальши и театральщины.

¹ Журнальный вариант

Беру из своего курса нескольких человек, в которых уверен. И в первую очередь ангажирую вас, Ольга Леонардовна Книппер.

В глазах его искрились лукавинки. А если пошутил? Или розыгрыш? — думала я. Прошёл январь, февраль... Тихо. Но после великого поста как-то неожиданно сразу поползли со всех сторон слухи, что этот «особенный» театр действительно создаётся, уже появилась в стенах нашей школы драматического искусства живописная фигура Станиславского с седыми волосами и чёрными бровями. И уже наш третий курс волновался пьесой «Чайка», и мы ходили неразлучно с жёлтым томиком Чехова, и читали, и перечитывали, и не понимали, как можно играть эту пьесу, но всё сильнее и глубже захватывала она наши души.

Чехова все мы любили, он нас волновал, но, читая «Чайку», недоумевали: возможно ли её играть? Так она была непохожа на пьесы, шедшие в других театрах. Владимир Иванович Немирович-Данченко говорил о «Чайке» с взволнованной влюблённостью и хотел её ставить на выпускном экзамене. И когда обсуждали репертуар, он опять убеждённо и проникновенно говорил: непременно пойдёт «Чайка». И «Чайкой» все мы волновались, и все были тревожно влюблены в «Чайку». Но, казалось, пьеса была так хрупка, нежна и благоуханна, что страшно было подойти к ней и воплотить все эти образы на сцене...

2.

Помню, как всем нам было страшно. Ведь ещё недавно бедная «Чайка» обломала крылья в Петербурге, и где — в Александринке, императорском академическом театре. И вот мы, никакие актёры, в театре, никому не известном, смело и с верой берёмся за пьесу любимого писателя. В самом разгаре работы вдруг неожиданно приходит сестра Антона Павловича Мария Павловна и тревожно спрашивает, как это вы отважились играть «Чайку» после того, как она доставила столько страданий Чехову. Что мы могли сказать в ответ? Работали, мучились, падали духом, вставляли и опять уповали на чудо. Прошли наши выпускные экзамены. И вот, наконец, я у цели, достигла того, о чём мечтала, я актриса, да ещё в каком-то новом, необычном театре. В театре, которого ещё нет, но который обязательно будет.

Я вступала на сцену с твердой убеждённо­стью, что ничто и никогда меня не оторвёт от неё. Театр, казалось мне, должен был заполнить все стороны моей жизни. С ним солнце, без него — тьма. Никаких любовных увлечений и прочих мещанских радостей. Но когда я осознала всё это, произошло событие, перевернувшее всю мою жизнь: я встрети­лась с самим Антоном Павловичем Чеховым.

3.

В моих руках записка Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Завтра, 9 сентября, А. П. Чехов будет у нас на репетиции «Чайки». Помню Охотничий клуб на Воздвиженке, где мы репетировали, пока не было готово здание нашего театра в Каретном ряду. Помню, как сейчас, то мгновение, когда я в первый раз стояла лицом к лицу с Антоном Павловичем.

Все мы были захвачены необыкновенно тонким обаянием его личности, просто приходили в восторг от его простоты. От неумения «учить», «показывать». Мы не знали, как и о чём говорить... И он смотрел на нас, то улыбаясь, то вдруг необычайно серьёзно, с каким-то смущением, пощипывая бородку и вскидывая пенсне. Когда его спрашивали, отвечал как-то неожиданно, как будто и не по существу, как будто бы и общо, и не знали мы, как принять его замечания — серьёзно или в шутку. Но так казалось только в первую минуту, и сейчас же чувствовалось, что это брошенное как бы вскользь замечание начинает проникать в мозг и душу, и от едва уловимой типичной чёрточки начинает проявляться вся суть человека. Один из актёров, например, просил Антона Павловича охарактеризовать тип писателя в «Чайке», на что последовал ответ: «Да он же носит клетчатые брюки». Смех, да и только... Чехов вскоре ушёл, а мы чувствовали себя полными недотёпами, далёкими от мира, в котором он живет.

Второй раз Чехов появился на репетиции «Царя Федора» уже в «Эрмитаже». Репетировали мы вечером в сыром, холодном помещении, без пола, с огарками в бутылках вместо освещения, сами закутанные в пальто. И такими необычными

казались звуки наших собственных голосов в этом тёмном, сыром, холодном пространстве. Ни потолка, ни стен, какие-то грустные громадные, ползающие по стенам тени... Но там, знали мы, в пустом тёмном зале, сидит любимая нами всеми «душа» и слушает нас. После прогона он подошёл к режиссерам и сказал негромко: «Спектакль волнует. Ирина, по-моему, великолепна. Так хорошо, что даже в горле чешется. Был бы помоложе и жил бы в Москве, честное слово, влюбился бы» Царицу Ирину репетировала я. И эти чеховские слова мне потом передали. С того дня начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей судьбы, начался наш «роман», длившийся без малого шесть лет.

4.

И вот, наступил этот день! 17 декабря 1898 года мы впервые играем «Чайку» Автора с нами не было. Мы все точно готовились к атаке. Настроение было серьёзное, избегали говорить друг с другом, избегали смотреть в глаза, молчали, все насыщенные любовью к Чехову и к новому нашему молодому театру, точно боялись расплескать эти две любви, и несли мы их с каким-то счастьем и страхом. Владимир Иванович от волнения не входил даже в ложу весь первый акт, а бродил по коридору.

Во время первого акта чувствовалось недоумение в зале, беспокойство, даже слышались протесты — всё казалось новым, неприемлемым: и темнота на сцене, и то, что актёры сидели спиной к публике, и сама пьеса. Ждали третьего акта... И вот по окончании его — тишина какие-то несколько секунд, и затем что-то случилось, понимаете? Точно плотину прорвало, мы сразу не поняли даже, что это было; и тут-то началось какое-то безумие, когда перестаёшь чувствовать, что есть у тебя ноги, голова, тело... Всё слилось в одно сумасшедшее ликование, зрительный зал и сцена были как бы одно, занавес не опускался, мы все стояли, как пьяные, слёзы текли у всех, мы обнимались, целовались, в публике звенели взволнованные голоса, говорившие что-то, требовавшие послать телеграмму в Ялту... И «Чайка», и Чехов-драматург были реабилитированы.

Чем же мы взяли? Актёры мы все, за исключением Станиславского и Вишневского, были неопытные, и не так уж прекрасно играли «Чайку», но, думается, что вот эти две любви — к Чехову и к нашему театру, которыми мы были полны до краёв и которые мы несли с таким счастьем и страхом на сцену — не могли не перелиться в души зрителей. Они-то и дали нам эту радость победы...

Следующие спектакли «Чайки» пришлось отменить из-за моей болезни — я первое представление играла с температурой тридцать девять и сильнейшим бронхитом, а на другой день слегла совсем. И нервы не выдержали. Первые дни болезни никого не пускали ко мне; я лежала в слезах, негодуя на свою немощь. Первый большой успех — и нельзя играть! А бедный Чехов, получив после поздравительных телеграмм известие об отмене «Чайки», решил, что опять полный неуспех, что болезнь Книппер — только предлог, чтобы не волновать его, не вполне здорового человека, известием о новой неудачной постановке «Чайки». А всё было совсем наоборот.

5.

В первый день пасхи, под весёлое смятение колоколов, мы пошли с ним и его сестрой Марией Павловной на выставку Левитана. Сильно волнуясь, бледный, с горячими красивыми глазами, Левитан говорил о мучениях, которые он испытывал в продолжение шести лет, пока сумел передать на холсте лунную ночь средней полосы России, её тишину, её прозрачность, лёгкость, даль... И действительно, это была одна из замечательнейших его картин, «Стога сена при лунном свете». А публика, не понимая прелести и задушевности пейзажа, смеялась и фыркала над ней.

Мария Павловна рассказала о многолетней дружбе художника и Антона Павловича. Кстати, сюжет «Чайки» был невольно подсказан Исааком Ильичом.

— Ой, расскажите! — воскликнула я. — Всё, что касается «Чайки», было мне интересно.

— Не передавайте только Антону, он сердится, не любит вспоминать об этом. Так вот, Левитан летом жил в усадьбе Турчаниновой на берегу чудесного озера. Писал там, работал

и, между прочим, завёл в этой усадьбе сложный роман с одной дамой. Дело дошло до того, что выход был один — чтобы спасти честь женщины, нужно было застрелиться. И Левитан выстрелил себе в голову, но, к счастью, неудачно: пуля прошла через кожные покровы головы, не задев черепа. Владелица усадьбы, зная, что Антон был врачом и другом Левитана, срочно телеграфировала, чтобы он немедленно ехал спасать художника. Антон нехотя собрался и поехал. Что было там, я не знаю, но, возвратившись, он сообщил мне, что его встретил Левитан с чёрной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с женщинами сорвал с себя и бросил на пол. Затем взял ружье и пошёл к озеру. Появился через несколько часов с бедной, ни к чему убитой им чайкой. И бросил к ногам этой дамы. Вот и всё. Но брата потряс этот эпизод, это безжалостное убийство красивого живого существа. Возможно, это и подтолкнуло его к работе над пьесой. Между Антоном и Левитаном кровная связь, — сказала тихо Мария Павловна.

Я поняла эту недосказанную фразу, когда Левитан, отойдя в сторонку, захлебнулся нескончаемым надрывным кашлем и приложил к губам платок, который вмиг окрасился кровью. И вот ещё что запомнилось на этом вернисаже: картина «Васильки». Бесхитростные полевые цветы. Ничего напыщенного, яркого. А ведь как это дышит Россией!

Через шесть лет я вспомнила их, когда везла тело Антона Павловича из Германии в Москву. На одной глухой, заброшенной станции, подошли к поезду две робкие женские фигуры с полными слёз глазами и бережно прикрепили нежные, только покинувшие лут васильки к грубым железным засовам товарного вагона, в котором я везла гроб с телом Чехова.

6.

Но это ещё далеко, далеко. А пока в этот весенний день кружится голова от предчувствия счастья. Мы встречались и расставались... Писали друг другу горячие взволнованные письма... Таковы были внешние факты. А внутри росло и крепло чувство, которое требовало каких-то определённых решений, и я решила соединить свою жизнь с жизнью Антона Павловича, несмотря

на его слабое здоровье и на мою любовь к сцене. Верилось, что жизнь может и должна быть прекрасной, и она стала такой, несмотря на наши горестные разлуки, — они ведь кончались радостными встречами. Жизнь с таким человеком мне казалась нестрашной и нетрудной: он так умел отбрасывать всю тину, все мелочи жизненные и всё ненужное, что затемняет и засоряет самую сущность и прелесть жизни.

Я писала ему чуть ли не каждый день. Отчего ты не едешь, Антон? Я ничего не понимаю. Или у тебя нет потребности видеть меня? Мне страшно больно, что ты так неоткровенен со мной. Все эти дни мне хочется плакать. Ты пишешь так неопределённо — приеду после. Что это значит? Здесь уже тепло, хорошо, ты бы отлично жил в Москве, писал бы, мы могли бы любить друг друга, быть близкими. Нам было бы легче перенести тогда разлуку в несколько месяцев. Я не вынесу этой зимы, если не увижу тебя. Ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты его делаешь чёрствым? Я, может, пишу глупости, не знаю. Но у меня гвоздём сидит мысль, что мы должны увидеться. Ты должен приехать. Мне ужасна мысль, что ты сидишь один и думаешь, думаешь...

А вот и его ответ... Милюся моя Оля, славная моя актрисочка, почему этот тон, это жалобное, кисленькое настроение? Разве, в самом деле, я так уж виноват? Ну, прости, моя милая, хорошая, не сердись, я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность. До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров, других причин не было, уверяю тебя, милая, честным словом. Честное слово! Не веришь? Ты пишешь: «Ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его чёрствым?» А когда я делал его чёрствым? В чём, собственно, я выказал эту свою чёрствость? Моё сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда, никогда, и ты обвиняешь меня в чёрствости просто так, за здорово живешь. Ты хочешь и ждёшь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора — с серьёзными лицами, с серьёзными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе десять тысяч раз и буду говорить, вероятно, ещё долго, то есть что я тебя люблю — и больше ничего. Если мы теперь не

вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бациллы туберкулёза, а в тебя любовь к искусству.

...25 мая мы повенчались. «Тебе только одной удалось окрутить моего брата!» — сказала Мария Павловна. «Никакой пышной свадьбы, — решил он. — А то придётся стоять с бокалами в руках и постными лицами... А я до смерти боюсь пить шампанское». Так он сказал, до слова помню. Будто предвидел, что последний бокал шампанского он выпьет за минуту до своей кончины в Баденвайлере².

Я ехала туда, окрылённая надеждой спасти моего бедного Антона. Я верила в чудо. А он... Писателю Телешову он на прощание сказал: «Еду умирать». Боже, Антончик, откуда такое неверие в то, что судьба тебе улыбнётся, не бросит тебя, гордость и славу России? Или, наоборот, это было пророческое предвидение неизбежной смерти?

7.

Мы часто говорили о ребёнке. Антон Павлович любил детей, охотно с ними возился, придумывал всякие шутки и забавы. Одна из наших знакомых приехала в Ялту со своей трёхлетней дочерью. Забравшись к Чехову на колени, девчужка что-то лепетала и теребила ручками его бороду.

— Хочу своего, — сказал он мне однажды. — Роди мне полунемчика, который бы развлекал тебя, наполняя твою жизнь. Надо бы, дусик мой! Ты как думаешь?

Мне безумно хотелось родить маленького Чехова. В Ялте, где я провела пять незабываемых дней и ночей, мы даже придумали ему имя. Памфил! В переводе с греческого — «общий любимец». Но в Петербурге, куда театр поехал на гастроли, случилась катастрофа. В театре моментально узнали о моей беременности. Наши дядечки Константин Сергеевич и Владимир Иванович тоже радели за меня. Ведь если наш брак развалится, боялись они, Чехова может переманить другой театр. Всем нужен был крошка Памфил. Поздравляя Антона с сорокадвухлетием, я пропищала младенческим голоском: «Папоцька, я тозе хоцю бить писаселем. Я буду тебе помогать...» Антон, не

² Курорт в немецкой земле Баден-Вюртемберг

скрывая радости, смеялся. Провожая меня, он надавал мне кучу всяких советов. Я старалась быть осторожной, не делать резких движений, береглась. Но злой рок подстерёг меня. Во время репетиции кто-то забыл закрыть люк на сцене. Неосторожность или злой умысел? Не знаю, всё возможно. Я грохнулась с высоты нескольких метров. Дальше — больница, сложнейшая операция, и результат — я навсегда лишилась возможности стать матерью. Вот, Антончик, что стряслось надо мной. Тебе жаль Памфила? Целую тебя. Целую крепко. Не волнуйся, скоро приеду. Твоя неудачная собака. Состояние было безумное. Я была близка к самоубийству. Чехов меня спас своей любовью. Он был теперь моим единственным ребёнком. А я — его...

8.

Чехов последних шести лет — таким я знала его: слабеющий физически человек и крепнувший духовно писатель... Беспокойства, метания, точно чайка над океаном, не знающая, где бы присесть. Смерть отца, продажа Мелихова, продажа скопом своих произведений издателю, в сущности, за бесценок, благоустройство дома под Ялтой и в то же время сильное тяготение к Москве, к новому своему театральному делу... Такая вот крутоверть... Когда оглядываешься назад, то, кажется, что жизнь этих шести лет сложилась из цепи мучительных разлук и радостных свиданий. Начались частые встречи и проводы на Курском вокзале и на вокзале в Севастополе. В Ялте ему «надо» было жить, в Москву «тянуло» всё время. Хотелось быть ближе к жизни, наблюдать её, чувствовать, участвовать в ней, хотелось видеть людей, которые хотя иногда и утомляли его своими разговорами, но без которых он жить не мог.

А ведь можно было очень просто разрешить эту задачу — бросить театр и быть при Антоне Павловиче. «Антонка, родной мой, — писала я ему. — Хочется быть около тебя, ругаю себя, что не бросила сцену. Я сама не понимаю, что во мне происходит, и меня это злит...» Я не лукавила, я жила этой мыслью и боролась с ней. Знала и чувствовала, как ломка моей жизни отразилась бы на нём и тяготила бы его. Ведь он, безусловно, чувствовал бы себя виноватым. И никогда бы не согласился на мой добровольный уход из театра, который и его живо интересовал и как бы связывал его с жизнью.

9.

В один из своих приездов он привёз пьесу «Три сестры», которую мы с таким нетерпением ждали. Закончил читать — и воцарилось молчание. Антон Павлович смущённо улыбался и, нервно покашливая, ходил среди нас... Начали одиноко брошенными фразами что-то высказывать, слышалось: «Это же не пьеса, это только схема», «Этого нельзя играть, нет ролей, какие-то намёки только», «Работа трудная, много надо распахивать в душах»... Но вот прошло несколько лет, и мы уже с удивлением думали: неужели эта наша любимая пьеса, такая насыщенная переживаниями, такая глубокая, такая значительная, способная затрагивать самые скрытые прекрасные уголки души человеческой, неужели эта пьеса могла казаться не пьесой, а схемой, и мы могли говорить, что нет ролей? Как далеко вперёд смотрел Чехов, а мы сами ещё оставались в плену старого обветшавшего театра. Пьесу он не оставил, поспешно ушёл, вид его казался удручённым. Я знала, что он остановился, как обычно, в Большой московской гостинице, и из театра помчалась туда. У него как раз был приступ мучительного, с кровью, кашля. Мне известно было, конечно, о его болезни, но он умело скрывал её от окружающих, отшучивался. Сейчас, в номере гостиницы, когда он никого не ожидал, я с ужасом увидела на диване лежащего на боку, среди сбитых простынь, судорожно скорчившегося человека. Всё его тело содрогалось от кашля... Он отвалился навзничь на подушки и медленно, в темноте, нащупывал меня взглядом. Я включила лампу. Его глаза без пенсне были большие и беспомощные, как у ребёнка. Он тихо, с трудом проговорил: «Зачем... ты пришла, дуся... Это... сейчас пройдёт. Ничего страшного». Я вытерла кровь с его губ и усов. Подождала, пока успокоится. «Любимая, прекрати плакать. Это не то, что ты думаешь. Это желудочное кровотечение, понимаешь? Не лёгочное, не чахотка».

— Ты обманываешь меня, Антошк. Зачем? Скажу тебе по секрету, я всё знаю. Я обошла полдюжины врачей, была у самого профессора Остроумова.

— Не доверяешь мне? Да?

— Антон, ты замечательный, умный врач. Скольких

людей лечил от туберкулёза? Только не себя. А ведь положение очень серьёзное. Вот последние анализы. Я всё выписала... Количество красных кровяных телец, например, уменьшено вдвое по сравнению со здоровым человеком... Хрипы с обеих сторон — как над ключицами, так и под ними. Тебе назначены влажные компрессы, уколы кодеина и морфия. Ты их делаешь? От всего отмахиваешься, просто горишь себя.

Он пробовал отшутиться: «Хорошо иметь жену-немку. Всё досконально изучила. Может, Остроумов и тебя произвел в профессоры?.. Капалотик мой, я капляю с кровью уже более двадцати лет. Если бы это была чахотка, матушка ты моя, я бы ни за что не думал жениться на тебе и вообще уже давно был бы там, где не надо ни писать юморески, ни читать корректуру».

— Послушай, — не отставала я. — Многие доктора, любимый мой, советуют попробовать лечение кумысом. И я уже договорилась. Андреевский туберкулезный санаторий в Уфимской губернии. Поедем?

— Хорошо, после свадьбы.

Свадьба вышла преоригинальная. В церкви не было ни души, у ограды стояли сторожа. К пяти часам я приехала с Антоном, шафера уже сидели на скамеечке в саду. Я еле стояла от головной боли и одно время чувствовала, что или я расплачусь, или рассмеюсь. Венчались мы на Плющихе у того батюшки, который отпевал отца Антона. От меня потребовали только свидетельство, что я девица, за которым я сама ездила в нашу церковь. Когда мы вернулись после венчания, наша прислуга всё-таки не выдержала, и все гуськом явились поздравлять меня и подняли вой и плач. В восемь часов мы поехали на вокзал, нас провожали все наши, всё было тихо, скромно.

В санатории нас ожидали письма и телеграммы — и не только поздравительные. Женильба Антона многим его поклонникам перевернула душу. Некая Мария Дроздова писала ему из Ялты о своих переживаниях: «Как огорчило меня известие о Вашей женильбе, я в тот момент писала красками, и все кисти и палитра вылетели к чёрту. Ведь я до последней минуты не теряла надежды выйти за Вас замуж. Всё я думала, это так, шуточки с другими, а мне за мою скромность Бог счастье пошлёт, и вот

конец моим мечтам. Как я теперь ненавижу Ольгу Леонардовну, ревность моя доходит до иступления, теперь я Вас видеть не могу. Она мне ненавистна, а Вы с ней вместе, всегда и навсегда. Гадина! Получила щелчок по носу и выкаблучивается. И не только эта безвестная Маша. Многие сволочи винили меня в том, что из-за театра я не уделяю большому мужу достаточного внимания. Чуть! А кто, скажите, впрыскивает ему морфий и наперстянку, кто делает ледяные компрессы и следит за диетой?

Ищут причины. Оказывается, не его безумная поездка на Сахалин, не изнурительная ежедневная литературная работа, а я, Книпперша, как они меня дразнят, виной тому, что его здоровье стало катастрофически угасать. Что я лечу его не у тех врачей и вообще наш брачный союз губителен для прославленного писателя.

Когда случился тяжелейший приступ горлового кровотечения, мы вынуждены были покинуть Андреевский туберкулезный санаторий, который Антон окрестил «исправительной колонией». В Ялте он снова стал терять в весе. Кашель, часто с кровью, не утихал. Оставалась надежда на лечение за границей. Точка на карте Германии: Баденвайлер. Несмотря на свою нелюбовь к курортам, Чехов согласился. «Только после премьеры «Вишнёвого сада», — добавил он. — Заграница любит денёжки, а их на сегодня у меня нет».

10.

Я играла во всех пьесах Антона, но моей самой любимой героиней была Маша из «Трёх сестёр». Я страдала, когда из-за болезни меня заменяла другая актриса и произносила уже ставшие родными мои слова: «Мне хочется каяться, милые сёстры. Томится душа моя... Это моя тайна, но вы все должны знать... Я люблю... Люблю этого человека... Такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая. И он меня любит...»

Зимой мы привезли свою «чеховиану» в Петербург. Столичная публика приняла «Трёх сестёр» на ура. Между прочим, бывшая «антоновка» Лидия Авилова, беллетристка, до сих пор обожающая Антона, просила у меня билетик на «Сестёр». Но я ей отказала. Такая я злюка, боюсь недоброго взгляда. А

может быть, сорвала на ней зло за петербургскую прессу... Ох, как клевали меня со всех сторон эти газетчики, понимая, что их отравленные стрелы впиваются в Чехова. Один из заправил этой газетной банды написал: «Г-жа Книппер с неподвижным, маловыразительным лицом представляет просто очень флегматичную даму. Похвалы этой актрисе в некоторых журналах являются для меня совершенной загадкой». А другой, в тон ему, назвал меня «просто плохой актрисой» и расхвалил горьковскую фаворитку Марию Андрееву.

11.

«Вишнёвый сад», последняя пьеса Чехова. Его лебединая песня. Я знала, что Антон закончил её и вот-вот должен выслать её в Москву. Жду, жду, и вот, наконец, почтальон принёс её мне. Утром, я была ещё в постели. С каким трепетом я её брала и развёртывала — ты себе представить не можешь, Антошенька. Перекрестилась трижды. Так и не встала с постели, пока не проглотила её всю. Мне всё, решительно всё нравится, точно я побывала в семье Раневской, всех видела, со всеми пострадала, пожила. В четвёртом акте зарыдала. Четвёртый акт удивительный. Вообще ничего нет похожего на прежние твои пьесы; и никакой тягучести нигде. Легко и изящно всё. Вся драма какая-то для тебя непривычно крепкая, сильная, ясная.

Я сразу угадала, что Раневская — это я. «Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишнёвого сада я не понимаю своей жизни, и, если уж так нужно продавать, то продавайте и меня с садом...» Какие слова, Антоша! Ты гений! Прочла и побежала в театр. Владимир Иванович так и вцепился в пьесу. Репетицию отменили. Пришли Качалов, Лужский, Москвин, и всем давали только «поддержаться» за пьесу. Если бы ты мог видеть лица всех, наклонявшихся над «Вишнёвым садом». Конечно, пристали все — тут же читать. Заперли дверь на ключ и приступили. Читал Немирович. Только что кончили, как приехал Константин Сергеевич и уже, не здороваясь со мной, тянет руку за пьесой, которую я держала. Слушали все с благоговением, с лицами особенными, чтение прерывалось смехом или одобрительными знаками. Сегодня утром читает её Константин Сергеевич, а завтра будут читать

труппе. Ты такой писатель, что сразу никогда всего не охватишь, так всё глубоко и сильно. Надо сжиться и тогда уже говорить. Ах, как хорошо всё! Как чудесно написан Гаев, Лопахин, Любовь Андреевна вышла «лёгкая» удивительно, но трудна адски. Чудесная роль. Шарлотта и Варя очень интересны и новы. Конечно, уже в «Новостях» появилось что-то не совсем суразное и перевернутое. И нетактичная в высшей степени заметка, что я играю центральную роль.

Милый, голубчик мой, когда я увижу тебя? Когда я буду целовать, ласкать тебя? Целую моё золото, мою любовь крепко и безумно хочу видеть тебя. А пока всё время занято работой. Ночь была в театре, только обедала дома. Я нашла смех для Раневской. Если бы ты был рядом... Константин Сергеевич велел заниматься мне дома непременно в изящном платье, чтобы я привыкла чувствовать себя хоть приблизительно шикарной женщиной. По технике это адски трудная роль. Спасибо, милый мой супруг. Задал ты мне задачу. У меня теперь ни минуты покоя. Можешь меня ревновать к Раневской. Я только её одну и знаю теперь. «О мой милый, мой нежный прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье моё, прощай!.. Прощай!..»

12.

«Вишнёвый сад» мы впервые играли семнадцатого января 1904 года, в день именин Антона Павловича. Он не любил показных торжеств и даже отказался приехать в театр. Очень волновался постановкой и приехал только тогда, когда за ним послали.

Первое представление «Чайки» было торжеством в театре, и первое представление последней его пьесы тоже было торжеством. Но как не похожи были эти два торжества! Было беспокойно, в воздухе висело что-то зловещее. Не знаю, может быть, теперь эти события окрасились так благодаря всем последующим, но что не было ноты чистой радости в этот вечер семнадцатого января — это точно. Привезли его в театр чуть ли не силой, да и то — только к концу третьего действия. А в последнем антракте устроили, с помпой, с длинными речами и подношениями, чествование по поводу двадцатипятилетия его

литературной деятельности. Он не был весел, точно предчувствуя свою близкую кончину. Мертвенно бледный и худой, стоя на авансцене, он никак не мог унять кашля. Пока его приветствовали с адресами и подарками, у нас болезненно сжалось сердце. Антон Павлович очень внимательно, очень серьёзно слушал всех, временами он вскидывал голову своим характерным движением, и казалось, что на всё происходящее он смотрит с высоты птичьего полёта, что он здесь ни при чём, и лицо освещалось его мягкой, лучистой улыбкой. Из зрительного зала ему крикнули, чтобы он сел. Но Чехов нахмурился и простоял всё длинное и тягучее торжество. Юбилей вышел торжественным, но сам юбиляр оставил тяжелое впечатление. «От него отдавало похоронами», — сказал кто-то.

Начали собираться в дальнюю дорогу. Я была вся на нервах, понимала свой риск, свою ответственность. Выдержит ли он эти две тысячи вёрст? Ведь перейти улицу ему подчас тяжело. Понимал это и он. Прощался с друзьями, будто навсегда. Тягостное предчувствие не обманывало его. А я... Я упорно продолжала верить, что Баденвайлер поставит его на ноги. Первые дни в этом городке были наполнены заботами. Сначала мы остановились в отеле «Рёмербад», но хозяевам не понравилось, что Антон Павлович постоянно кашлял и тем самым беспокоил постояльцев гостиницы. Пришлось переехать на виллу «Фредерике», но и там нас встретили недружелюбно. «Вы привезли его, фрау Чехова, в неизлечимом состоянии. Если с ним случится наихудшее, это будет сомнительная реклама и для отеля, и для нашего курорта». Последнее пристанище мы нашли в гостинице «Зоммер». Две комнаты на втором этаже с небольшим балконом, откуда открывался чудесный вид на утопавший в зелени городок. Баденвайлер ему понравился. Кругом один большой сад, писал он родным, за садом покрытые лесом горы, мало людей на улицах, мало движения. В Германии ему особенно импонировали порядок и экономическое благополучие. Хотя педантизм, безвкусица и отсутствие фантазии в одежде немецких женщин были ему не по душе.

Я жила надеждой на его выздоровление. Самочувствие Чехова становилось лучше. «Немецкие врачи перевернули всю мою жизнь. Моё здоровье улучшилось, при ходьбе не замечаю, что болен... Спасибо немцам, которые научили меня, что и как нужно есть. Нигде нет такого вкусного хлеба... замечательная вода, как лимонад», — писал он домой. Даже послал меня во Фрайбург купить лёгкий летний костюм... «Здоровье моё поправляется, входит в меня пудами, а не золотниками», — писала я под его диктовку матери и сестре. Почти ежедневно мы с ним выезжали кататься в лес. Любовались крестьянскими чистыми домами, и он вздыхал: «Когда же у нас мужики будут так жить?» Однако вскоре ему стало скучно в этом курортном городке, и он добавлял: «Но наша русская жизнь гораздо талантливее, не правда ли, моя дорогая немочка?»

Он был в чудесном расположении духа, шутил. После трёх тревожных, тяжёлых дней ему стало легче. Послал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась от него эти дни, и, когда я пришла, начал придумывать сюжет юмористического рассказа. Я сидела, прикорнувши на диване после тревоги последних дней, и от души смеялась. И в голову не могло прийти, что через несколько часов я буду стоять перед телом Чехова!

13.

Вспоминать и говорить об этом страшно. В первом часу ночи он проснулся от очень затруднённого дыхания и впервые в жизни попросил ночью вызвать врача. Затем он впал в забытё, стал бредить. «Матрос уехал?» — «Какой матрос?» — «Матрос, матрос...» Бред, по-видимому, имел связь с войной. В газетных сводках были тревожные сообщения о потоплении наших кораблей японцами.

А здесь, на моих глазах, тонул мой корабль. Величавый, красивый. Его медленно поглощала тёмная бездна вод. И никто не мог его спасти. Беспомощная медицина! Ненавижу тебя.

Так продолжалось несколько минут. Потом бред прекратился. Нужно было что-то делать. Я вспомнила, что в этом же отеле жили знакомые русские студенты — двое братьев, и вот одного из них, Лёвшуку, я разбудила и попросила сбегать за

доктором, а сама пошла колоть лёд, чтобы положить на грудь умирающему. Помню, как с грустной улыбкой ты сказал, любимый: «На пустое сердце льда не кладут...» Действительно, сердце его уже едва наполнялось кровью. Доктор Шверер, пришедший в два часа ночи, пульса почти не прощупал. Чехов спросил его по-немецки: «Смерть?»

— О, нет, нет!.. Что вы! — попытался успокоить его Шверер и распорядился, чтобы принесли баллон кислорода. Бывший в комнате Лёвушка побежал за баллоном.

— Не надо, — сказал Чехов, — пока принесут кислород, я уже умру.

Шверер сделал ему инъекцию камфары. Пульс бился всё слабее. Доктор понял, что до конца остались минуты и велел дать умирающему бокал шампанского. Я была удивлена и только потом узнала, что, согласно врачебному этикету, находясь у смертного одра коллеги и видя, что на спасение нет никакой надежды, врач должен поднести ему шампанского. Шверер, проверив у Антона пульс, велел побыстрее открыть бутылку. Антон Павлович приподнялся на постели и, выпив бокал до дна, сказал: «Давно я не пил шампанского». И улыбнулся своей удивительной улыбкой.

— Я умираю, — сказал он мне.

Затем он обратился к Швереру:

— *Ich sterbe*³...

Он выпил всё до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул. Навсегда... В страшную тишину ночи вдруг как вихрь ворвалась огромных размеров чёрная ночная бабочка. Она мучительно билась о горящие электрические лампочки и металась по комнате. Было чувство потерянности, полной одинокости и беспомощности в этом спящем и ничего не ведающем отеле.

Ушёл доктор, среди тишины и духоты ночи вдруг со страшным шумом выскочила пробка из недопитой бутылки шампанского... Начало светать, и вместе с пробуждающейся природой раздалось, как первая панихида, нежное, прекрасное пение птиц, и донеслись звуки органа из ближней церкви. Не было ни людских голосов, ни суеты обыденной жизни, были красота, покой и величие смерти.

³ Я умираю (здесь и далее нем.)

14.

Едва забрезжило утро, первое утро без тебя, Антошенька, как ко мне в номер пришли двое незнакомых, одетых во всё чёрное, мужчин. Это были служащие местного бюро ритуальных услуг.

— Примите наши искренние соболезнования, фрау Тшехоф, в связи с кончиной вашего супруга, — произнес заученным скорбным голосом один. — Наш маленький городок и вся Германия скорбят о безвременном уходе из жизни замечательного русского писателя. Мы пришли к вам в эту трудную минуту, чтобы вместе подумать о достойном упокоении этого великого человека.

Второй чиновник тут же вынул из кожаной папки карты и фотоснимки.

— Мы можем предложить вам самые комфортные услуги захоронения, — сказал он. — Вот наше городское кладбище. Чистота, красивая природа, свежий воздух... Памятники из гранита, из розового мрамора... Круглогодичный уход.

Мне с трудом удалось их прервать.

— Я жду, господа, телеграмм от его родных. Место его захоронения должна решить родина.

— А разве есть альтернатива, фрау Тшехоф? До России в такую жару вы не довезёте покойника, тем более, пока придут телеграммы от родных. В Германии похоронены многие великие люди. Гете, Шиллер, Бах... Мы подготовили договор с возможностью, если вы пожелаете, расторгнуть его. Вот... Участок №7/11. Прекрасное место, гравийные дорожки, зелень, чудесный вид... Вокруг уважаемые персоны — политики, банкиры... Престижная компания, не правда ли?.. И даже один гофмаршал рядом.

У меня раскалывалась голова, я ничего не соображала.

— Хорошо, господа, я подумаю. Филен данк, майне херрен, филен данк⁴.

⁴ Большое спасибо, господа, большое спасибо

15.

Одна за другой приходили телеграммы из России. «Сообщите редакцию Новое время подробности кончины брата. Александр». «Когда и где будет похоронен Антон. Ответ оплачен. Суворин». Телеграммы с соболезнованием были от первой невесты Антона Дуни Эфрос («Какой ужас, какое горе», — писала она), от актрисы Комиссаржевской, от Лидии Авилловой, Щепкиной-Куперник и других его *антоновок*. Около двенадцати часов пришла, наконец, телеграмма от родных: «Хороните Антона Москве Новодевичий монастырь». Договор о захоронении Антона в Германии я поспешно разорвала. Пришли доктор Шверер, русские студенты и приехавший из Фрайбурга консул России. Он уже кое-что предпринял для транспортировки тела Чехова на родину. «Как это ни прискорбно, Ольга Леонардовна, но придётся везти гроб в вагоне для перевозки продуктов. Конкретно — для перевозки свежих устриц».

— Вы с ума сошли, — вскрикнула я. Перехватило дыхание, всё поплыло перед глазами. — Чехова — с устрицами!

— Я понимаю ваши чувства, Ольга Леонардовна, — сказал консул. — И разделяю ваше горе. Но другого способа нет. Наше посольство в Берлине с превеликими трудностями добилося разрешения прицепить вагон с гробом к пассажирскому поезду. В котором поедете вы.

— А вы знаете, Ольга Леонардовна, — сказал Лёвушка, — Антон Павлович от души бы посмеялся над этой шуткой судьбы.

— Да ещё бы написал уморительный рассказик, — добавил его брат Костя.

Я понимала, что они хотят вывести меня из ступора.

— Да, — сказал консул, — нас будут обвинять в кощунстве и обливать грязью за эти устрицы. Но иначе мы не вернем Чехова России.

— Герр Чехов был сильный человек, переносил все свои страдания молча, — сказал доктор Шверер. — И замечательный писатель, но плохой врач, если решился на различные переезды и путешествия. Ему надо было сидеть в тепле, пить тёплое молоко с малиной и беречь каждую минуту жизни. А он мне всё

рассказывал, что в последние три года объездил пол-Европы. Да ещё побывал на каком-то Сахалине. Сам себя и загубил.

— Позвольте не согласиться с вами, герр доктор, — сказала я. — Мой муж был великолепным врачом, он спас сотни больных. А сидеть в халате и пить тёплое молоко... Нет, это не для него. Он любил живую жизнь и ни за что не согласился бы превратиться в мумию.

Пришло время прощаться. Меня отвезли на вокзал, под руки усадили в курьерский поезд. Я заснула и проснулась в Берлине. На Потсдамском вокзале уже стоял этот страшный товарный вагон номер Д-1734 с надписью «Для перевозки свежих устриц». Всё померкло вокруг, слёзы застилали глаза. Я ехала одна в купе, а сзади, я знала, через несколько вагонов от меня, грохочет, не отстаёт, вздрагивая на стыках рельсов, вагон с телом Антона Павловича Чехова. Мысленно я разговаривала с ним, вспоминая дни нашей короткой совместной жизни, и от этого становилось легче. «Я увезла тебя, мой дорогой, от Гёте и Шиллера и от гофмаршала тоже. Прости свою собаку, свою глупую дворняжку. Ты не сердись, нет? Ведь мы едем к нашим, едем в Россию».

16.

Чехова несли на руках через всю Москву. Я шла за гробом, опираясь на руку Немировича-Данченко. Не поднимая головы, краем глаза, видела за собой многотысячную толпу. Чиновники и рабочий люд, офицеры и студенты, барышни, литераторы, купчихи — все те, которые как будто вышли из его рассказов. Они были все здесь! Пришли проститься с ним! Люди пели «Святый Боже», плакали. Все балконы были заняты и усеяны людьми. Мы останавливались у тех мест, которые были освящены именем Чехова, и там служили литии. У Тургеневской читальни, у осиротевшего Художественного театра, у памятника Пирогову. У входа в Новодевичий монастырь стояли сотни людей. Похоже было, что это храмовый праздник.

Могилау засыпали свежей землёй. Тысячи цветов. Мне потом сказали, что на моём лице была блаженная улыбка. Может быть, ведь я разговаривала с ним. Слышала его ласковый далёкий голос:

*Я здесь, милюся моя любимая, моя собака... Как ты там без меня... бедная моя девчуша; майн либер хунд, милый мой пёсик, целую тебя миллион раз; моя немчуша; пупсик милый; балбесик мой, карапузик мой; Книпперуша; замухрышка; крокодильчик мой; попугайчик; Зюзик; жулик мой милый; моя палочка; мордуся моя милая; светик мой, целую и треплю мою собаку, дёргаю за хвостик, за уши; бабуля моя, обнимаю тебя и целую в шейку, в спинку и щёлкаю по носу, дусик мой; тафакаша. Немочка моя Книппа, целую мою птицу, дёргаю за носик, за лапки; милая моя лошадка; лошадиная моя собачка; цуцук мой... Целую мою таракашку, будь весёленькой; лошадка, индюшечка; козявка; дудочка; собачка моя заморская, кашалотик мой милый; лягушечка моя; комарик, собачик; конопляночка; зяблик, не забывай меня, не забывай. **Г***

Сведения об авторах

Ильдар Абузяров (1975, Горький). Писатель, историк, преподаватель. Автор книг «Осень джиннов» (2000), «Курбан-роман» (2009), «Хуш» (2010), «Агробление по-олбански» (2012), «Мутабор» (2012), «Финское солнце» (2015), «О нелюбви» (2016). Десятки публикаций в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Юность», «Знамя», «Вавилон», «Октябрь», «Урал», «Нева» и других. Лауреат Новой пушкинской премии (2011) и премии имени Валентина Катаева (2012). Живёт в Москве.

Дмитрий Белкин (1971, Днепропетровск). Историк, куратор, прозаик. Референт фонда им. Эрнста Людвиг Эрлиха (ELES). Закончил истфак Днепропетровского университета. Учился и защитил диссертацию в университете Тюбингена, работал в институте имени Макса Планка, Еврейском музее Франкфурта-на-Майне и институте имени Фрица Бауэра. Автор монографии *Gäste, die bleiben. Vladimir Solov'ev, die Juden und die Deutschen* (2007), куратор и соиздатель каталогов выставок *Ausgerechnet Deutschland! Jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik* (2010) и *Bild dir dein Volk! Axel Springer und die Juden* (2012), автор многочисленных статей и эссе в немецкой прессе. В Германии с 1993 года. Живёт в Берлине.

Дарья Бобровская (1989, Тольятти). Переводчик, поэт, юрист. Автор сборника «Жизнь без фейсбука» (*Das Leben ohne Facebook*) и публикаций в издательстве «Союз писателей» и журнале «Литературный Европеец». Инициатор проекта тандемного перевода *ÜberDichter*. В Германии с 2011 года. Живёт в Берлине.

Юлия Вишке (1981, Елец). Доктор философии, переводчик, экскурсовод. Изучала философию, русскую литературу и историю 20-го века в Тартусском университете. В 2005-2006 годах исследовала в качестве стипендиата Берлинской палаты депутатов историю русских философов-эмигрантов в Берлине 1920-1930-х годов. Защитила докторскую диссертацию по фи-

лософии в университете им. Гумбольдта на тему *Philosophie als Erinnerung: Dimensionen des Erinnerungsbegriffs im Anschluss an Schelling* (2010, опубликована в 2012). Автор нескольких научных статей о природе воспоминания, конфликтов памяти в современной Европе на немецком языке. В Германии с 2000 года. Живёт в Берлине.

Дмитрий Драгилёв (1971, Рига). Поэт, музыкант, журналист, переводчик. Автор пяти поэтических книг и двух книг по истории музыки. Один из инициаторов музыкальных проектов *The Swinging PartYsans* и *Kapelle Strock*, ряда литературных чтений и джазового фестиваля им. Э. Рознера в рамках ежегодных германо-российских дней. Председатель Содружества русскоязычных литераторов Германии (с 2015 года). Лауреат премии московского журнала «Дети Ра» (2006), призёр берлинского открытого русского слэма (2006), лонг-лист премий «Московский счёт» (2010) и «Новый звук» (2014). В Германии с 1994 г. Живёт в Берлине.

Александр Крамер (1953, Харьков). Прозаик. По образованию — инженер. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Публикации в журналах «Северная Аврора», «Сибирские огни», «Невский альманах», «Знание-сила: Фантастика», «Дарьял», «Костёр», «Алтай», «Южная звезда» и других. В 2009 году несколько рассказов вошли в московскую «Антологию российских писателей Европы», а в 2013 году в израильский сборник прозы «Десятьдомиков». В Германии с 1998 года. Живёт в Любеке.

Эдуард Лурье (1959, Елец). Дипломированный инженер, кандидат технических наук. Занимался научной деятельностью. Работает переводчиком. Член редакционной коллегии журнала «Берлин.Берега». В Германии с 1991 года. Живёт в Берлине.

Женя Маркова (1979, Киев). Поэт, преподаватель, переводчик. Организатор поэтических мероприятий в Берлине и других городах. Публикации в изданиях «Сетевая Словесность», «Окно», «Полутона». Член редакционной коллегии журнала «Берлин.Берега». В Германии с 2001 года. Живёт в Берлине.

Валерий Матэтский (1949, Красноярск). График-дизайнер, поэт, переводчик. Окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухомой, факультет дизайна. Член IFA — Международной федерации художников. Автор книги стихов «Поцелуй в язык» (2010). Публикации: альманах «До и после» (Берлин), антологии «Четвёртое измерение», «Январский дождь», «Голое небо», «Прощание с Вавилоном». В Германии с 1991 года. Живёт в Берлине.

Елена Раджешвари (1954, Одесса). Художник, поэт, переводчик. Окончила исторический факультет Мюнхенского университета. Литературно-критические статьи о современной русской поэзии и драматургии опубликованы в ряде литературоведческих сборниках издательства *Knaur* (Мюнхен). Стихи и переводы немецкой и итальянской поэзии печатались в российских журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Трамвай», в газете «Литературные известия», «Зарубежные записки» и в берлинских сборниках поэзии «Третий этаж» 2010 и 2012 годов. Руководит галереей «Ателье Сольдина». В Германии с 1977 года. Живёт в Берлине.

Дарья Рубо (1989, Мурманск). Студентка факультета городского планирования Берлинского Технического университета. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

Илья Рывкин (1974, Петрозаводск). Художник, поэт, куратор мероприятий. Изучал германистику в педагогическом училище Петрозаводска и в славистику Свободном университете Берлина. Автор сборника стихов «Поверхностность» (2013). Публикации в журналах, газетах и антологиях, среди прочих «Гвидеон», *Kulturwelten*, *Jungle World*, *Credo.ru*, «Русская планета», «Лимонка», «Поэты Моабита», «Нашкрым» и других. Стихи Рывкина переведены на ряд языков, включая немецкий. В Германии с 1994 года. Живёт в Берлине.

Зиновий Сагалов (1930, Тбилиси). Драматург, прозаик, поэт. Окончил отделение журналистики Харьковского государственного университета. Работал в НИИ, газетах, издательствах. Возглавлял

литчасть театра. Пьесы поставлены в театрах Украины, России, Германии, Казахстана, Израиля и США. Публикации в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Нева», «Молодёжная эстрада», «Райдуга», «Истоки». Отдельные сборники драматургии: «Три жизни Айседоры Дункан» (1998), «Седьмая свеча» (2001), «Клип, или Забавы мертвецов» (2001), «Всемирный заговор любви» (2002), «Сестры Джоконды» (2005). Помимо этого опубликован роман «Дело *Джойнт*» (2003), а также книга эссе и воспоминаний «Действующие лица» (2013). Отмечен рядом премий и наград. В Аугсбурге создал свой авторский театр *Lesedrama*. В Германии с 2001 года. Живёт в Аугсбурге.

Анаит Сагоян (1986, Санкт-Петербург). Поэт, филолог. Учится в магистратуре Потсдамского университета по специальности «Восточноевропейские исследования». Занимается художественной фотографией. Участник некоммерческого проекта *Russian Poetry Jam*, выступает в рамках поэтических слэмов. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

Элизабет Симон (Ревель). Обучалась библиотековедению, истории и социологии. Работала в библиотеках Гамбурга, Оффенбаха-на-Майне, Лимы (штат Огайо, США). Помимо этого возглавляла в Гамбурге Публичную библиотеку, а также на внештатной основе преподавала в местном университете. Работала в Немецком Библиотечном институте (Берлин), проводя обучающие мероприятия для библиотекарей из разных стран, включая Россию. Свыше 120 профессиональных публикаций в Германии и других странах. Преподавала в берлинском Университете имени Гумбольдта. Ряд национальных и международных наград. В 2007 году основала издательство *Simon Verlag für Bibliothekswissen*. Живёт в Берлине.

Марина Степнова (1971, Ефремов). Прозанк. Автор романов «Хирург», «Женщины Лазаря», «Безбожный переулоч», а также ряда рассказов. Работала шеф-редактором журнала XXL. Роман «Хирург» вошёл в длинный список премии «Национальный бестселлер» (2005). За роман «Женщины Лазаря»

Степнова удостоилась третьей премии «Большая книга» (2012). Помимо этого роман «Женщины Лазаря» входил в шорт-листы премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Живёт в Москве.

Вадим Фадин (1936, Москва). Прозаик, переводчик, поэт. Автор стихотворных сборников «Пути деревьев», «Черта», «Нить бытия» и «Утонувшая память». Автор пяти книг прозы, в том числе романов «Семеро нищих под одним одеялом», «Рыдание пастухов» и «Снег для продажи на юге». Лауреат премии им. М. Алданова 2008 года («Лучшая повесть русского зарубежья»). Публикации в журналах и альманахах России, Германии, США, Израйля, Эстонии и Дании. В Германии с 1996 года. Живёт в Берлине.

Герхард Фалькнер (*Gerhard Falkner*, 1951, Швабах). Поэт, прозаик, драматург, эссеист, переводчик. Публикуется с середины 1970-х. Упоминается как один из наиболее влиятельных и определяющих стиль современных немецкоязычных поэтов. Автор многих поэтических сборников, включая *Berlin — Eisenherzbriefe* (1986), который считается одним из центральных постмодернистских текстов. Лауреат ряда литературных наград. В числе прочих в 2009 году отмечен престижной премией имени поэта Петера Хухеля (*Peter-Huchel-Preis*) за книгу стихов *Hölderlin Reparatur*. Живёт в Вайгендорфе и Берлине.

Виктор Фишман (1934, Днепропетровск), Геофизик, кандидат технических наук. Прозаик, публицист. Автор двадцати книг, в том числе десяти научно-популярных книг для юношества. Статьи о литературе и истории, о связи культуры России и Германии, печатались в русскоязычных газетах Германии, США и Израйля, а также в журналах «Родная речь» (Ганновер), «Грани» (Москва), «Плавмост» (Аугсбург). В Германии с 1996 года. Живёт в Мюнхене.

Мария Цвик (1958, Львов). Поэт, редактор художественной литературы, педагог. Магистр педагогики. Автор книги стихов и прозы «Несси в городе» (Кишинёв, 1991). Публикации

в коллективном сборнике «Дельтаплан», подборки стихов в журналах «Кодры» (Кишинёв), «Зеркало загадок» (Берлин), газете «Кстати» (Сан-Франциско). Переводы стихов Йосла Бухбиндера с идиш на русский в альманахе «Наше слово» (Мюнхен). В Германии с 1991 года. Живёт в Мюнхене.

Михаэль Шерб (1972, Одесса), физик-теоретик, информатик. Публикации в журналах «Дружба народов», «Интерпоэзия», *Homo legens*, «Крещатик», «ШО», «Эмигрантская лира» и других. Призер чемпионата Балтии-2014, фестиваля «Эмигрантская лира»-2013. В Германии с 1994 года. Живёт в Дортмунде.

Сергей Штурц (1973, Сыктывкар). Поэт. Учился на факультете психологии Свободного Берлинского университета, позднее на историко-филологическом факультете Университета им. Гумбольдта. Один из учредителей и модераторов литпроекта «В порядке вещей». В содружестве с Дмитрием Драгилёвым основал литобъединение «Запад наперёд». Автор артбука *Nolens volens* (2008) совместно с художником Францем Родвальтом. Публикации в журналах «Звезда», «Зинзивер», «Гвидеон», альманахах «До и после», *Schloss Moabit*, «Белый ворон». Стихи переводились на немецкий и испанский языки. Участвовал в ряде фестивалей в Берлине, Санкт-Петербурге, Москве и Коктебеле. В Германии с 1991 года. Живёт в Берлине.

Даша Эдлер (1987, Баку). Пианистка, радиоведущая, политолог-международник. Занимается социальными проектами. На страницах литературного журнала публикуется впервые. В Германии с 2012 года. Живёт в Берлине.

Анастасия Юркевич (1973, Москва). Поэт, музыкант. Училась в консерваториях Германии и Австрии. Работала при ООН. Публикации в журналах «Гвидеон» (проект «Русский Гулливер»), «Плавучий мост», «Новый Журнал», «Эмигрантская Ли́ра», «Интерпоэзия». Первая премия конкурса-фестиваля «Эмигрантская Ли́ра» (2015), специальная премия журнала «Интерпоэзия» (2015). В Германии с 1992 года. Живёт в Берлине.

Kurze Zusammenfassung

Die dritte Ausgabe von «Berlin.Berega» eröffnet mit je einer Gedichtsammlung von **Maria Zwick** und **Anastassija Jurkewitsch**. Die erste trägt den Titel «Auf dem Weg», die zweite heißt «... Einfach weil die Sterne hier nicht leuchten».

Marina Stepnova (Moskau), eine hoch begabte russische Autorin, Verfasserin des in Russland preisgekrönten und ins Deutsche übersetzten Romans «Die Frauen des Lazarus», stellt sich mit einem Auszug aus ihrem neuen Buch vor. Das Fragment ist «Der russische Schnee» betitelt; da jedoch das Buch als Ganzes noch unveröffentlicht ist, lässt sich noch kein Titel zitieren. In dem Fragment geht es um den Deutschen Georg Mosel, geboren 1571. Mosel war Arzt von Beruf. Sein Schicksal blieb für immer mit Moskau verbunden. Bis zum letzten Tag seines Lebens liebte er den russischen Schnee ...

Die Dichterin und Fachredakteurin für Poesie der Literaturzeitschrift «Berlin.Berega» **Genia Markova** (Berlin) publiziert ihre Erzählung «Das Jahr des Affen». Darin beschreibt Markova die Ereignisse, die sich in Köln während der letzten Silvesternacht zuge tragen haben. Die Erzählung ist eine literarische Besinnung auf die Wirklichkeit. Alles beginnt damit, dass die Protagonistin Anja mit ihrem Freund Markus plant, die Silvester am Kölner Hauptbahnhof zu feiern.

Das dritte Heft von «Berlin.Berega» präsentiert auch einen Auszug aus dem Buch des Berliner Schriftstellers und Publizisten **Dmitrij Belkin**. Es geht um den Roman «Germanija», in dem Belkin seine Erfahrungen mit der Übersiedlung nach Deutschland erzählt. Wir veröffentlichen daraus das Kapitel mit der Überschrift «Brief an einen fortgeschrittenen Einwanderer». Dort wendet sich Belkin an einen fiktiven Immigranten und gibt ihm verschiedene teils seriöse, teils ironische Ratschläge. *Der Text erscheint in zwei Sprachen!*

Es folgen zwei weitere Gedichtzyklen: von **Michael Scherb** aus Dortmund und **Valery Matetsky** aus Berlin. Die von Scherb heißt «Elegien für FreundInnen», die Sammlung von Matetsky trägt den Titel «Der glühende Pfau».

Ein weiterer Autor aus Moskau, **Ildar Abusjarow**, erzählt die Geschichte des jungen Martin, der in Berlin-Wedding lebt. Er stammt aus dem tatarischem Dorf Kukmor, doch das Schicksal verschlägt ihn nach Deutschland. Als er die Bekanntschaft einer alten Frau macht, entwickelt sich daraus eine ganz ungewöhnliche Beziehung.

Alexander Kramer aus Hamburg ist mit dem kleinen Zyklus «Fragmente aus dem deutschen Leben» vertreten. Diese Prosa ist eine leise Art von Literatur, doch kann man den Text auch als eine Art Spiegel betrachten. Kramer analysiert sein neues Leben — und zumeist stellt man fest, dass es ihm recht gut geht.

Die bekannte Poetengruppe «Sapad naperjod» («Westen verkehrt») besteht aus drei Berliner Autoren: **Dmitrij Dragilew**, **Ily a Ryvkin** und **Sergej Sturz**. Jeder von ihnen stellt sich mit einer kleinen Sammlung vor. Gemeinsam beschreiben sie, was die Gruppe ist und worum es ihr überhaupt geht.

Die in der zweiten Ausgabe von «Berlin.Berega» begonnene Rubrik «Debüt» lebt weiter. Dieses Mal stellen sich drei weitere Autorinnen aus Berlin vor. Die Heldin der Erzählung «Der letzte Flug» von **Dascha Edler** fliegt zurück in ihre Heimat, und zwar aus einem ganz schlimmen Grund. Im Übrigen fragt sie sich: wieso feiert man eigentlich die Geburtstage verstorbener Menschen?

Die Autorin **Anait Sagoyan** lässt in ihrer Erzählung «Ich und meine drei Schatten» den Protagonisten Zeuge eines Brandes werden und über verschiedene philosophische Fragen diskutieren. «In den anderen hassen wir uns selbst», schreibt Sagoyan.

Daria Rubo erzählt in seiner Kurzgeschichte «Leopard» von der Beziehung einer jungen Frau zu einem norwegischen Junkie.

Daria Bobrovskaya leitet in Berlin den kleinen Literaturkreis *ÜberDichter*. Seine Mitglieder übersetzen wechselseitig ihre Gedichte. In ihrem kurzen Beitrag beschreibt Bobrovskaya die Erfahrungen, die sie als Leiterin dieses Kreises macht. Der Text enthält zahlreiche Beispiele in zwei Sprachen.

In der Rubrik „Übersetzungen“ werden auch Gedichte des zeitgenössischen Lyrikers und Essayisten **Gerhard Falkner** vorgestellt. Drei sogenannte *Ignatien* hat **Elena Rajeshvari** (Berlin) ins Deutsche übersetzt.

Grigorii Arosev, Chefredakteur von «Berlin.Bereg», hatte die Gelegenheit, die bekannte lebende russische Prosaistin **Ludmila Ulizkaja** zu interviewen. Ulizkaja erzählt unter anderem über «ihr» Deutschland. «Das größte Glück meines Lebens ist, dass mein erstes Buch erschien, als ich 50 war. Ich war erwachsen genug. Die Hauptsache war, dass ich keine Ansprüche auf eine große Literaturkarriere stellte», so Frau Ulizkaja.

Vadim Fadin, Altmeister des russischsprachigen Berlins, stellt seinen Kurzesay «Das Thema der Grenze in der Literatur» vor. Nach seiner Übersiedlung nach Deutschland arbeitete er an einem Buch mit dem russischen Titel «Чепра». Dieser Begriff hat zwei Bedeutungen, und der Autor stellt fest, dass kein deutsches Wort existiert, mit dem man beide Bedeutungen wiedergeben könnte. Es kann sowohl «Strich» als auch «Grenze» heißen. Diese Feststellung inspirierte Fadin zu einem seiner spannendsten Essays.

Viktor Fischman (Hamburg) informiert die Leser von «Berlin.Bereg» über den Dichter Ivan Goll — Wanderer zwischen drei Sprachen und mehreren Ländern. Goll schrieb über sich selbst: «Ich bin Jude durch Schicksal, Franzose durch Zufall, Deutscher durch ein Papier mit Stempel». Goll hat die beiden Weltkriege überlebt und ist bis heute nicht hinreichend bekannt. «Hoffen wir, dass die Poesie Ivan Golls die Herzen der russischen Leser erreicht», schreibt Fischman.

Die Übersetzerin und promovierte Philosophin **Julia Wischke** aus Berlin schreibt über die russischen Philosophen, die 1922 aus der Sowjetunion vertrieben wurden. Ein Dialog zwischen ihnen und den deutschen Philosophen blieb jedoch fast ganz aus. Man sollte meinen, dass zwei Kulturen, die über gleiche Themen verfügen, in engem Kontakt miteinander stehen müssten, was in der Wirklichkeit jedoch nicht der Fall ist: jede Kultur kommuniziert nur mit sich selbst und nutzt die andere lediglich als Mittel, um sich selbst besser zu verstehen.

Im Hanser Verlag ist der Roman «Dampfschiff nach Argentinien» von Alexei Makushinsky erschienen. Seine Erzählung «Ostergo» erschien im 2. Heft von «Berlin.Berega». Im 3. Heft bespricht **Eduard Lurje**, Übersetzer von Beruf und Fachredakteur bei «Berlin.Berega» für Übersetzungen, die russische Version von «Dampfschiff nach Argentinien». Dieses Buch erschien erst 2014.

Gleichzeitig rezensiert **Elisabeth Simon**, Inhaberin und Leiterin des Simon Verlages, die deutsche Version des neuen Buches von Makushinsky. Aufschlussreich sind die Parallelen und Unterschiede in der deutschen und der russischen Version der Besprechungen.

Zinoviy Sagalov, Dramatiker aus Augsburg, ist mit dem kleinen Spiel «Ein Requiem mit Sekt und Austern» vertreten. Es handelt sich um ein doppeltes Theaterstück: einerseits geht es um die theatralische Form, andererseits widmet Sagalov den Text Anton Tschechow, einem von größten Dramatiker der Welt. Das ganze Theaterstück ist ein langer Monolog von Olga Knipper-Tschechowa, der ersten und letzten Ehefrau Tschechows. Sie erzählt die vollständige Geschichte ihrer Beziehung ...

Информация о подписке

Вы можете подписаться на литературный журнал
«Берлин.Берега», начиная с любого номера.

Печатная версия:

Актуальный номер: 10 евро

Годовая подписка (2 номера, начиная с текущего): 16 евро

Стоимость каждого ранее выпущенного номера (наличие уточняйте в редакции): 7 евро.

Все цены указаны для **Германии**. При заказе из других стран просьба уточнять цену в редакции.

Электронная версия (страны ЕС):

Актуальный номер: 3,5 евро

Годовая подписка (2 номера, начиная с текущего): 6 евро

Стоимость каждого ранее выпущенного номера: 2,5 евро.

Электронная версия (РФ, Украина, Белоруссия):

Актуальный номер: 40 рублей

Годовая подписка (2 номера): 70 рублей

Стоимость каждого ранее выпущенного номера: 35 рублей

Для подписки на журнал или покупки отдельных экземпляров
просьба отправить запрос на электронный адрес

berlin.berega@gmail.com или почтовый:

Maria Aroseva

Schieritzstr. 8

10409 Berlin